

ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ

КАРИНА ДЕМИНА



Внучка Берендеева  
в Чародейской  
Академии

## Annotation

Что делать, если в родном селе женихов достойных днем с огнем не найти, а замуж хочется? Ответ прост: предстоит Зославе дорога дальняя и дом казенный, сиречь Акадэмия, в коей весь свет царствия Росского собрался. Глядишь, и сыщется серед бояр да людей служивых тот, кто по сердцу придется внучке берендеевой. А коль и нет, то знания всяко лишними не будут, в Барсуках-то родных целительница хорошая надобна. Вот только приведет судьба Зославу не на целительский факультет, а на боевой, что девке вовсе неприлично. Зато женихов вокруг тьма-тьмущая: тут тебе и бояре кровей знатных, и царевич азарский, в полон некогда взятый, и наследник царствия Росского со своими побратимами... выбирай любого. И держись выбора. Глядишь, и вправду сплетет судьба пути-дороженьки, а там и доведет, правда, не ведомо, до свадьбы аль до порога могильного, ибо нет спокойствия в царстве Росском. Смута зреет, собирается гроза над головою царевича и всех, кому случится рядом быть...

---

**Карина Демина**

**Внучка берендеева в чародейской академии**

© К. Демина, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

\* \* \*

# Глава 1,

## Где речь идет о необходимости высшего образования для правильного обустройства личной жизни

– А ждет тебя, милая, дорога дальняя и дом казенный, – бабка отмахнулась от жирной мухи, которая норовила пристроиться на бабкиной морщинистой щеке.

– Чего?

– Того, Зосенька, учиться тебе надобно...

Разговор этот бабка заводила уж не первый раз. И говоря по правде, без особого успеха.

Учиться мне не хотелось. Вот никак... хотелось замуж, и сильно, до того сильно, что аж в груди щемило. А поелику Божиня от щедрот своих грудью меня наделила обильной, то и щемило крепко.

Я отвернулась от бабки, которая нарочно энто гадание затеяла... как же, на женихов... сама опять про свою учебу...

Бабка вздохнула и листы, двойным крестом разложенные, стребла.

– Зосенька, сама подумай, какие тут женихи...

– Ивашка...

Правда, бегают он за Марьянкою, только родители его этакой невестушке не обрадуются. У Марьянки из приданого – две куры рябые да полкозы, и то с сестрицею поделиться не могут, кому какую половину.

Бабка поджала сухонькие губы:

– Не будет на чужом горе ладу, – сказала строго. – Аль и вправду думаешь, что стерпится – слюбится?

Нет, тут-то она права, про Ивашку, это я не подумавши... ну посватаюсь... матушка его заставит... или батюшка... да только Марьянку свою он, небось, по их велению не разлюбит.

И будет к ней бегать.

А я?

Защемило сильней. А может, не в тоске любовной дело, но просто рубаха тесная? Только вот отступать я не привыкла.

– Тогда Демьян...

– Вдовый.

– И что?

– Трижды вдовый, – с намеком произнесла бабуля.

И вновь права. Нет, Демьян – мужик хороший, и нет его вины в том, что женки его мрут, да только мне-то с того не легче.

Прокляли, небось.

Поговаривают, что будто бы еще дед евоный знахарку местную бросил за-ради мельничихиной дочки, вот та и осерчала... не мельничиха, а знахарка.

Дурень, что и сказать. Кто ж в здоровом-то уме знахарок злит? Говорят, та в лесу на осине повесилась, а перед тем деда Демьянова и весь его род проклала. Нет, поначалу-то я не верила, но как за три года трех девок схоронили, тут-то народец и припомнил и батюшку Демьянова, который невесту в иных краях сыскал, и что прожила она недолго, и деда его добрым крепким словом помянули.

Нет, не рискну я за Демьяна идти. Да и он боле не пробует свататься. Так и будет в одиночку сына растить, бедолажный...

Муха все ж таки села на высокий бабкин лоб, крыльцы сложила, лапки знай трет, довольная такая... к хлопотам, стало быть.

– Степка...

– Маменькин сынок, а с Глуздихою у тебя ладу не будет. Станете жить да гавкаться.

И то верно. Степка – парень славный, да только без маменьки своей он и до ветру не сходит. Она же, к единственному сыночку прикипевшая, только и поучает... трижды всех барсуковских девок перебрала и не нашла той, которая дорогого Степочки достойная.

– Ганька? Тимошка-скороход...

Я перечисляла имя за именем, но впустую. Оно и правда, пусть село наше, Большие Барсуки, и вправду велико, да только парней в нем не так чтобы и много. Девочек всяк больше. И каждой замуж охота, и каждую щемит, гонит бабья тоска, страх перегореть-перелететь юные годы... они ж быстрые. Вчера девка, сегодня – баба, а завтра уже и старуха седая, дитями да внуками окруженная. Аль одинокая, что старостина сестрица, сухопарая да лядашая, с глазами завистливыми, с языком гадючьим. Слова-то доброго от нее не услышишь. А все почему? Потому как крепко в молодые годы женихов перебирала, вот и не заметила, как безмужнею осталась, бобылкою горькой.

– Ты вот говоришь, что учиться тебе не надо, – бабка под села поближе. – Да только ж, Зосенька, ты об ином подумай... поступишь в Акадэмию... выучишься, диплому получишь и мантию. Вернешься в Барсуки не знахаркою, а ведьмой царскою!

Бабка подняла заскорузлый палец.

А что, и вправду хорошо звучит... только есть одно обстоятельство, которое мне вовсе не по нраву.

– Так когда ж это будет, бабулечка? Сколько учиться надобно?

– Пять годочков всего.

И глаза хитрые-хитрые, серые, что галька речная, водой до блеску обласканная.

– Всего?!

Да пять годочков – это... это ж, прости Божиня, почти треть моей жизни! Это ж сколько мне будет-то... двадцать один... или нет, двадцать два. Я на свете, ежель разобраться, семнадцать годочков цельных прожила, а за энти годочки так никто и не посватался.

В груди заныло так, что я всхлипнула от жалости к себе... нет, невеста я солидная, с приданым немалым, да и собой хороша, только... сторонится наш люд тех, кого Божиня даром наделила.

– Тю, какие это годы, – бабка придвинулась еще ближе, сели локоток к локоточку, как некогда, в детстве моем далеком. Того и гляди, сунет руку под душегрею, вытащит калачик сахарный да сунет с утешением. Мол, не след печалиться в этакий-то день.

Солнышко.

Аль дождь, но он все одно землице нужен, пусть напьется-напитается, наберется сил... и когда бабка говорила так, то я слушала, а обиды, выдуманные, настоящие ли, но уходили.

– Для ведьмы – это и не девичество даже, детство горькое... колдуны, они поболее обыкновенных людей живут.

Ее правда, но... это ж я пока доучусь, всех приличных женихов поразбирают!

Но бабка от моих резонов отмахнулась.

– Ой, и дурища ты, Зоська... вот мы ж с тобою твоих женихов перебрали и никого

подходящего не нашли, верно?

Я кивнула.

– Так чего ж о них горевать-то? Оженятся? И пушай себе, а за пять лет новые появятся... – она смахнула-таки муху, которая поднялась с тяжким гудением, небось, недовольная тем, что ея от этакой премудрой беседы отлучили. – А не появятся, то и... ты ж, Зосенька, дальше Бузькова торжища не выезжала.

Ее правда, да только и не тянуло меня странствовать. Хватит, маменька моя настранствовала... дай, Божиня, доброго посмертия ея душеньке.

Бабуля моя, обрадованная тем, что я молчу, слушаю и не перечу, взяла меня под локоток.

– Вот гляди. Акадэмия – она где?

– Где? – послушно переспросила я.

– В столице! – На сей раз бабулин палец с кривым синеватым ногтем уткнулся мне в нос. – А в столице сколько народу?

– Много...

Всяк поболе, нежели в наших Барсуках. Может быть, даже пару тысяч наберется. Я попыталась представить себе столько люду, но не сумела. Отчего-то подумалось, что теснотень должна быть в этой столице. Небось, сидят один у одного на головах.

Жуть.

– Очень много! – со значением произнесла бабка. – А женихов среди них – что рыбы на нересте...

Я призадумалась.

Была в бабкиных словах своя правда. Отчего-то до нынешнего дня я про учебу думала как про пустую трату времени. И так умею все, чего людям местным надобно.

И пацуков выведу, и тараканов.

Банника приструню.

С кудельником договориться сумею, хмарь да хворобу из тела выгоню. Со скотом управлюся, с амбарами... бабка, небось, так учила, что куда там царевым Акадэмиям.

Она же, почуяв во мне слабинку, заговорила сладеньким голосочком, аккурат таким, каким с мельничихой беседу вела, которая про меня трепалась, что будто бы я ея сыночка ненаглядного на сеновале за какой-то надобностью сманила и что вернулся он с того сеновалу мятый-премятый и уставший. Оно-то правда, утомился он быстро, хоть и здоровьем его Божиня не обделила. Только куда человеку супроть одержимца? Я ж мельничихе про то говорила... и сынок ейный хороший парень, жаль, что в позатом годе оженился... а мальничиха про женку будто и позабыла, знай языком себе мелет-мелет...

Интерес у нее.

С того интересу да со сладкой бабкиной беседы и выскочил на языке чирь чирьем. Мельничиха потом неделю не то что говорить – есть не могла. Схудала, сошла с тела да повинилась: не меня она оговаривала, невестку воспитывала, которая сыночком ее дорогим помыкает больно, хотела дурной девке показать, что жена – не стена, ее и подвинуть можно.

Но та история – давняя...

– И женихи тамошние – не чета нашим... там и купцы тебе, солидные люди... и служивые, ежель более по нраву. И мастера всякие. А то и боярина какого прихватишь...

Я мотнула головой: это бабка уже лишкухватила.

– А что? – Серые глаза ее блестели молодо, ярко. – Ты ж у нас и сама не из простых... да при даре... да при грамотке царевой... такой жене каждый рад будет!

В общем, уговорила она меня.

Нет, я по-прежнему полагала, что пользы от этой самой Акадэмии мне не будет, но и вреда, авось, не приключится. А там, буде Божиня ласкова, я и вправду счастье свое справлю.

На том и порешили.

Отъезжала я на десятый день, с обозом. И купец Панкрат, мужчина видный, в теле и с животом, каковой есть вящее свидетельство жениной об муже заботы, весьма тому порадовался.

Он мне и местечко на своей телеге обустроил. Соломки свежей положил, дерюжкой накрыл, бабка пыталась сунуть подушки, да только я отказалась: куда мне в столицы да с подушками?

– Хорошие! – Бабка оскорбленно поджала губы. – Гусиным пухом набитые!

А то я не знаю! Сама тех гусей щипала, сама и сыпки шила, и с пухом мешала сон-траву, истертую в порошок, чтоб на подушках этих спалось легче.

Только вот огромные оне.

– А на кого ж ты меня покидаешь... – Бабка вспомнила, что на нее люди смотрят – провожать меня вышли всем селом, старуха Микитишна, месяц лежмя лежавшая, и та поднялася – подушки сунула старосте, который принял их с поклоном да сестрице передал.

– И чего ей нейметя? – Та скривилась. – Попортят девку. В столице той одни охальники...

– Таковую попорти... – буркнул Михей, который в прошлом годе, захмелевши крепко на Весенний день, с поцелуями ко мне полез.

А я что?

Рука у меня крепкая, дедова...

– Ай деточка... ай кровиночка... – Бабка раскачивалась, при том успевая перебраться в который раз нехитрые мои пожитки. – Кошелек при себе держи, подвяжи к ноге тесемочкой.

– Уже подвязала.

– А грошиков отсыпь в зарукавники... уезжаешь в край далекий... – выла она знатно, протяжно, даром мою бабку на все похороны зовут. Она одним голосом любого разжалобит. И староста шмыгнул длинным красным носом. – Кто ж за мною-то, старую, глядеть будет...

Заблестели глаза и у старостихи, она мяла расшитый фартук да покачивалась, готовая по старой привычке подхватить жалобную песню. Поникли мои подруженьки, которые за-ради этакого поводу принарядились, Маришка и та в косы новую ленту вплела. Небось, Ивашкин подарок.

– Ой, ноженьки мои не ходю-ю-т, – продолжала голосить бабуля. – Кошель с документами на шею повесь...

– Повесила.

– Ой, рученьки мои не держат... Зося тебе там пирожков завернула с капусточкой и грибочками... ой, глаза-ы-ньки мои не видят... гляди, у торговок не бери, вечно они порченное сунуть норовят. Потом будешь всю дорогу животом маяться.

– Ба!

– Молчи и слушай старших. Ой, ушеньки мои не слы-ы-шат...

– Бабуль, ты ж меня вроде провожаешь, а не хоронишь...

– Да? – Она смахнула платком крупную слезу. – А хорошо ж идет... ай, остануся одна... сирота-сиротинушка...

Девки подвывали.

Лузгали семки.

И глазами стреляли, подмечая, что у кого нового объявилось. Вон, Тришка душегрею нацепила хорошую, плюшеву... небось, маменька для этаких проводов не пожалела. А у Славки на шее монисты висят. И серьги крученые в ушах покачиваются, которых я прежде не видела. У меня этаких нету... ничего, я себе в столице, небось, и покраше найду.

– Ай, буду век вековать... горе-горевать... летит моя лебедушка, крылья расправила... да выются по-над нею ястребы сизые... ястребы сизые, с когтями острыми... закогтят мою лебедушку... заклюют белокрылую...

– Бабуль, я ж и остаться могу.

Сухонький кулачок уперся в мой нос.

– Гляди там, Зоська... не балуй, а то ты ж меня знаешь!

Панкрат, взопершись на воз, свистнул, хлопнул кнутом... тронулись, стало быть.

– Ай, одна ты у меня оставалася... ай, как мне тепериче жить...

Бабку уже обступали сельчане, и старостина сестрица сунула ей подушки, которые бабка обняла, потому как добром своим не привыкла разбрасываться. Подушки она прижала к животу, не прекращая причитать. Это уже потом, когда телега за пригорочком скроется, бабка замолчит да пригласит сельчан к столу, чтоб, значит, проводили честь по чести покойницу...

Тьфу ты... студентку.

Будущую.

Я же подперла кулаком подбородок, поерзала на соломе, устраиваясь поудобней, и принялась мечтать, как приеду в столицу...



## Глава 2

# Дорожная, в которой случаются новые знакомства и добрые советы

До столицы я ехала три седмицы. Сперва-то обозом, на Панкратовой телеге, которая пробиралась от деревеньки к деревеньке, постепенно заполняясь нехитрым товаром.

В Медунищах взяли меду в липовых аккуратненьких баклажках.

В Сивцах – вяленой рыбы да полотна узорчатого, которое тамошние мастерицы ткнут хитро, что на обе стороны узор выходит. Я опосля Сивцов целый день все полотно мяла, разглядывала, силясь понять, как оно у них вышло, но не докумекала. И спрашивать бессмысленно, не расскажут. Оно и верно, кто ж в здравом-то уме этакою тайной поделится? Брал Панкрат и горшки глиняные, и лисьи шкурки, рога олени, про которые сказал, будто бы столичные лекари из них порошок делают от мужской слабости. Вот смех...

Как бы то ни было, но вскорости на телеге места почти и не осталось. А там и на тракт вышли, широченный, желтым камнем вымощенный. А по нему люд, что пеший, что конный, что с телегами, как и мы... тут-то и выяснилось, что до столицы Панкрат не едет, а надобно мне на постоялом дворе в возок почтовый проситься. Оно хоть и дорого выйдет, зато и быстро.

Панкрат сам энтот возок и сыскал. Хороший он мужик, и бабку мою крепко уважает.

– Езжай, Зосюшка, – меня расцеловал в обе щеки. – Езжай и покажи там, в столицах, где раки зимуют...

Носом шмыгнул от избытка чувств.

И я едва не расплакалась: все ж таки последний знакомый человек... кто знает, как оно там, на чужбине сложится. Впрочем, горевала я недолго. Долго не умела.

Почтовый возок оказался мелким, что коробка мышиная, и тесным. Лавки внутри стояли узенькие, твердые, выглаженные до блеску. И главное, что на лавку эту мне одной как уместиться, но в карету четыре человека влезло.

– Потеснись, девка, – велел парень болезного виду. Бледненький, тощенький, зато при шабле да в камзоле. Камзол вот, в отличие от парня, мне глянулся. Сукно дорогое, густого зеленого колеру, да с золотым шитьем. Ружи, значит, по подолу, а на грудях – птички чудные, с короткими крылами да хвостами длинными. А главное, что шитье это хитрое, я такого не видела... хотела пощупать тайком, да парень скривился.

– Убери руки, холопка!

Я и убрала. Мне чужого не надобно.

Хотела сказать, что не холопка вовсе, но вольная от рождения, и матушка моя вольною была, и дед, да смолчала.

– Понаберут всяких... – парень нос задрал и к окошку отвернулся.

Напротив нас устроился сухонький старичок с обильною лысиной и тетка в годах. Стоило карете стронуться, как она достала подушечку пухлявую да сунула к стеночке, прислонилась и уснула. Как же я ей позавидовала, а часу не прошло, как с сердешною тоской вспомнились бабкины пуховые подушки... вот бы хоть одну...

Возок, четвериком запряженный, летел.

Трясся.

Скрипел и не разваливался, видимо, чудом да моими молитвами. А молилась я истово, как никогда-то прежде... кажется, даже вслух. Точно вслух, потому как парень, до того глядевший в окошко – как будто бы на этой скорости разглядеть чего можно, – процедил сквозь зубы:

– Заткнись уже.

И зыркнул на меня этак недобро. Тут-то я и решила, что и вправду хватит... ежели возок до этого дня не рассыпался от подобной езды, то и нынешнюю дорогу как-нибудь выдержит.

Смиривши дрожь в коленях, я повернулась к спутнику.

От, хоть и видно, что боярского роду, да все одно без жалости на такого и не взглянешь.

Недокормленный какой. Вон как щеки запали. Нос крючковатый торчит. Губы ниточкой.

И подбородок востренький, упрямый, а на нем бороденка курчавится, да реденькая.

– Репейным маслом натирай, – сказала я, в бороденку мизинчиком ткнув. Папенька мой, будь Божиня к нему милосердна, помнится, учил меня, что просто пальцем в живого человека тыкать – это неманерно. А ежели мизинчиком, то очень даже красиво выходит.

Правда, молодец сего жесту не оценил. Он поерзал, верно, будь лавка пошире, отодвинулся б. Вот олух. Я ж ему от чистого сердца советую! У нас вон девки все опосля бани с репейным маслицем волосы чешут, чтоб гуще росли и блеску прибавляли, а после отваром из дубовой коры да березовых листьев споласкивают.

– Главное, тепленькое возьми. На паровой баньке нагрей, но не чтоб кипело. Как закипит, то разом всю пользу поутратит, – я говорила тихо, вполголоса, дабы не потревожить спящую женщину. Хотя та спала крепко, вон, похрапывала даже.

Парень зубы стиснул так, что ажно заскрипели.

Ох ты ж, бедолажный...

– А это у тебя от глистов...

– Нет у меня глистов! – сдавленно произнес он и обеими руками за шаблечку ухватился. Сам-то невелик росточком, и оружия такова ж. Не оружия – смех один... этакою саблей только курей и гонять. Вот, помню, тяткину... тяжеленная, с меня, малую, высоту будет.

Да при эфесе узорчатом.

На стали клеймо, и на пятке эфесу камень гербовый. Красивая была, жаль, что сгнула вместе с тяткой. Вспомнилось, и разом такая тяжесть на плечи навалилась, что хоть волком вой.

И десять годков уж минуло, а все не успокоится сердце.

– Есть. – Я заставила себя думать не о своих бедах, но о благе ближнего, который, как и многие ближние до сего дня, блага своего осознавать не желал. – Зубами ты скрипишь. А энтэ – первый признак глистов!

На впалых щеках вспыхнули багряные пятна.

– Замолчи!

– Да чего ж молчать? Нету в глистах срама... у каждого случиться могут. Гонять их надобно... вон, погляди на себя, какой ты...

– К-какой?

Волнуется.

Аж заикаться стал от волнения, и пятна уже не только на щеках. И на шее, и на лбу. Уши и вовсе пунцовыми сделались.

– Худенький, – жалостливо сказала я. – Это из-за глистов... вот они обжились у тебя вnutрях.

Я ткнула мизинчиком во впалый живот.

– И жрут.

– К-кого?

– Так еду твою жрут. Вот ты, скажем, пирожка съел там... аль яблочко... аль еще чего.

Да только ты не себя накормил, а глистов.

Парень замолчал, верно, задумавшись над сказанным. А и права бабка моя, что главное в беседе с человеком – верное слово найти. И я, вдохновленная таким своим успехом, продолжила:

– И жиреют они с того корму. А ты худеешь.

– Я... не худой. – Он произнес это сдавленным шепотом. – Я изящный. В кости.

– Бывает и такое... когда с малых лет глистов не гоняют, тогда и кость не растет, – согласилась я, заметив, что к нашей беседе и дедок прислушивается, причем с немалым интересом. Вот сразу видно человека пожившего, опытного.

– Ты... ты...

– Помочь тебе хочу. – Я улыбнулась, потому как улыбка – она к душе чужой дорогу мостит. Про то наш жрец сказывал, а ему я верила, почти как бабке. – Ты, главное, не откладывай, а то оно может по-всяк повернуться. Вот у нашего старосты хряк был. Здоровущий такой хряк. И вот он вдруг тощать начал... не ест ничего, только лежит и вздыхает. И что ты думаешь? Едва не помер! А бабка моя как глянула, так сразу и сказала, что из-за глистов все. Ему черви кишки забили... как мы тех червей гоняли...

– Спасибо. Обойдусь без подробностей. – Парень прикрыл рот ладонью.

Оно и верно.

Мы цельный котел глистогонного зелья сварили. А уж как тому хряку в пасть лили... он-то, хоть и ослабевший, а всяк сильнее человека. И скотина, к увещаниям глухая...

– Я тебе зелье-то дам...

И открыла туесок дедов.

– Для хряка? – уточнил парень.

Красные пятна сошли, ныне он был бледен, да так, с прозеленью.

– Оно и людям сгодится... по три капли натошак. С седмицу пропьешь и сам увидишь, как оно полегчает. Главное, в первые дня два поблизу отхожего места держися. Потому как глист пойдет...

– Я п-понял...

Пузырек с зельем сам в руку нырнул.

– С-сколько? – парень его в рукаве широком спрятал. А я покачала головой: зелье-то простенькое. Масло пижмы, семена тыквы, чесночный сок да капля силы. За что ж тут деньгу-то брать?

– А вы, значит, знахарка? – вступил в беседу дедок, до того молчавший.

– Так и есть. – Я важно кивнула.

– Молоды вы больно...

– Бабка учила...

Он пошевелил вялыми губами и поинтересовался:

– А вот у меня спина болит... чего посоветуете?

Я покосилась на парня, который так и застыл, повернувшись к окошку. Правую рукой за шablечку свою держится. А в левой – кошель худосочный сжимает.

– Так это надобно знать, как болит, – важно ответила я. – Тянет аль ноет? Или стреляет?

И куда отдает? В подреберье? Или, может, вниз...

Старик вновь губами пошевелил, но ответил...

Так мы с ним и проговорили к обоюдному удовольствию до самого вечера. А поутру, когда пришла пора возку отправляться, то выяснилось, что давешний парень решил не ехать.

Верно, зелье мое принял.

И правильно, глисты – дело такое... чем раньше спохватишься, тем оно легче повывести будет. Вон, в нашей-то деревне их все гоняют, да по два раза на год, оттого и нету в Барсуках этаких заморышей.

## Глава 3, где речь идет о столице и Академии

А столица мне не по нраву пришлась.

Не спорю, город, конечно, большой, аж занадто, да только и какой-то неустроенный. Вот у нас, в Барсуках, пусть дороги и не мощеные, да ровные, чистые, убирают потому как с них и коровьи лепешки, и конские яблоки... и траву мужики по обочинам косят, не ленятся.

Туточки травы не было. Да и как ей быть, когда кругом один камень?

Дымно.

Суматошно. Грязно. Дома в черноте какой-то, в копоти. Воздух спертый, вонючий. Я аж сперва спужалась, что дышать не сумею.

Ничего, задышала.

Только нос платочком прикрывала, потому как шибало смрадом крепко.

На окраинах столицы растянулись мастерские слободки. Тут и кузни стояли, и пекарни, и гончарные мастерские, где будто бы делали посуду особую, легкую да звонкую, да крепости небывалой... тяжелыми черными горбинами вытянулись скотные дворы и бойни, от которых шел особо мерзотный дух, привлекая всех бродячих собак окрест.

О бойнях и мастерских мне рассказал старичок.

Он отодвинул желтую тряпицу, каковая висела тут вместо шторки, и показывал, что одно, что другое... возок уже не летел – полз. И все одно тряслась по горбылю. И тряска эта отзывалась во всем моем теле, а особливо в нижней его, не деликатной части, которую я всю об лавку пооббила...

– А вот там, сударыня Зослава, малый рынок, – старичок именовал меня со всем почтением, видно, пришлась по нраву мазь, по бабкиному старинному рецепту сделанная. И пусть сперва к ней Михайло Егорыч отнесся с немалым подозрением, в пальцах баночку крутил, нюхал, то одной ноздрей, другую пальчиком зажимая, то другой, то обеими... мазь-то пахла хорошо, воском да перепель-травой, которую мы с бабкой на полную луну собирали. Тогда-то трава в самой силе своей, и пахучая, что диво... запах ее и вонь бобровой струи перешибает.

А Михайло Егорыч этот запах шандаловым назвал.

Что ж, мне понравилось... пускай себе шандал, главное, что от спины больной – первейшее средство. Ему, как решился испробовать, разом облегчение вышло.

Вот ныне он и сидел пряменько, руками поясницу не мацал.

– Ежели вам вздумается прогуляться, то будьте осторожны. В последние годы ворья на этом рынке развелось немеряно...

Спутница наша, всю дорогу проспавшая, всхрапнула и во сне губами зачмокала.

– Он невелик, однако по-своему интересен. Порой там крайне занимательные вещицы найти можно, особенно если магического толку. А вот видите белое строение? Это дом часовой гильдии... недавно воздвигли. Иноземцы.

Строенье было солидно, как три общинных амбара, один на другой поставленных. Да с оконцами резными. Да из белого камня, который ажно светился на солнышке.

– На самом деле часовщиков среди них не так и много. В прежние-то времена часы диковинкой были, а ныне их любой имеет.

Сказал, что в душу плюнул.

В столицах-то, может, у каждого встречного оборванца часы за пазухой имеются, а вот у нас, в Барсуках, часы были лишь у старосты да у нас. Старостины – махонькие, серебряные, с крышечкой. На крышечке той – младенчик кучерявый намалеван, да до того хитро, что куда часы ни сдвинь, младенчик энтот на тебя глядит. Вот наши с бабкой часы – дело иное. Их еще мой дед поставил, когда к бабке сватался по человечьему обычаю. Солидные оне, в дубовом коробе, медведями изрисованном. С циферблатой медной, которую мы дважды в месяц чистим, со стрелочками узорчатыми, с шишечками да прочими куншпюками.

Хорошие часы.

Бабка их страсть до чего любит... бережет... оно и понятно, что памятью они о муже остались.

Но Михайло Егорыч про те часы не знал, а потому и разливался:

– Ныне же они иной точный инструмент готовят. Скажем, компасы аль навигационные махины... или иные какие механизмы. Говорят, что в царском дворце стоит золотой павлин, который всю царскую еду пробует. И если почует отраву, то мигом закричит.

– Так и почует? – в этакое диво я не больно-то поверила.

– Тысячу ядов различить способен, – подтвердил Михайло Егорыч. – А еще есть такой механизм, который царское повеление по всем городам вмиг разносит. Сидит при этом механизме маг обученный да стучит особой иголкой по пластине. Оттого рождается волна, которая во все стороны расходится, и как доходит до иного города, так там другая пластина звенеть начинает. И иголка сама по ней пляшет, а меж пластиной и иголкой – бумага тонкая папиросная лежит. Вот на ней-то и выкальваются знаки, которые уже иной городской маг считывает.

Я только и могла, что головой покачать: неужто и вправду подобное возможно?

– А вот там, сударыня Зослава, видно и здание Акадэмии... да-да, те самые красные крыши, что над стеною поставлены. Это башни, которые еще при Болеславе Добром строили, чтоб собирать со всего миру талантливых детей да учить их магической грамоте. Тогда же Акадэмии были дарованы всяческие вольности...

Крыши я видела, острые, со шпильями, на которых красные звезды сидели. Издали они гляделись невзаправдошними, какими-то леденцовыми. И страсть хотелось высунуть руку в окошко, дотянуться до шпиля-палочки и обломать себе одну звезду. Тут я вспомнила, что не ела с раннего утра, а утром ела трактирную еду, потому как бабулины пирожки давным-давно закончились.

На воспоминание это живот мой отозвался урчанием.

Ничего.

Потерпится.

– Студиозусы, если они, конечно, не отчислены, – продолжал меж тем рассказывать Михайло Егорыч, – не подлежат суду царскому. А ежели учинят какое непотребство, то город пишет жалобу, по которой в Акадэмии разбирательство устраивают. И там уже определяют меру вины.

Он замолчал, упершись в подбородок сложенными щепотью пальцами.

– Конечно, имелись прецеденты, когда студиозусы не просто шалили, но совершали самое настоящее преступление. Тогда их прилюдно лишали студенческого звания, запечатывали дар и передавали уже на цареву милость. К счастью, такое происходит редко. На самом деле Акадэмия занимает довольно-таки обширные территории. С каждым годом

от основания их прибывало, поскольку каждый царь понимал, что сильна страна не только пушками да пушкарями, но и магами... что и показала последняя война.

Сказал и вновь замолчал.

Потерял кого?

Все тогда кого-то да потеряли... бабуля моя – деда... я – родителей... да только не век горю душу глотать. Божиня, чай, велела детям своим не слезы лить, а жить да жизни радоваться.

Только до чего тяжело порой исполнять ее заветы.

– Студиозусы не только учатся, но и живут на территории Акадэмии... если, конечно, будет на то их желание и ректорское дозволение. Иные предпочитают в городе и столоваться, и квартирку снимать... но ты, думаю, захочешь остаться.

Я кивнула: была бы печаль деньгу тратить, когда тебе все забесплатно дают?

О том мне тоже Михайло Егорыч поведал. Следовало сказать, что про Акадэмию он знал много и рассказывал охотно, а проведая, что я поступать собралась, вовсе обрадовался несказанно и с той поры именовал меня сударыней Зославой, будто бы я уже грамоту получила. Нет, приятно, что уж тут, но страсть до чего непривычно. Я-то по первости робела да краснела, но дню этак к третьему пообвыкла.

– Всего факультетов шесть, – меж тем продолжил Михайло Егорович. – Общей магии. Теоретической магии. Магии стихийной, разделенный на четыре кафедры. Факультет мертвых сфер. Целительства и нестандартных практик. И боевой. Вы, сударыня Зослава, полагаю, на целительский поступать будете?

Я об этом еще не думала, мне представлялось, что надобно добраться до Академии, а после оно уже само собою решится. О том я и сказала Михайло Егоровичу, который от этих слов пришел в большое возбуждение.

– Вы в корне неправы, дорогая моя! – Он аж на седушке заерзал. – Категорически! От вашего нынешнего выбора зависит многое! Да что там многое! Вся ваша будущая жизнь!

Соседка тоненько засопела, приоткрыла глаза, но убедившись, что возок худо-бедно движется, вновь провалилась в полудрему.

– Вот, скажем, представьте, что человек, не имеющий к тому природной расположенности, пожелает целителем стать. Разве выйдет с того толк? И ему на всю жизнь мучение, и пациентам его – погибель...

Я задумалась: а ведь и верно... вот вспомнить Михася нашего, которого тятка евонный все хотел грамоте выучить, чтоб Михась не шкуры выделывал, а при управе боярской службу нес легкую, чистую. Да только не лезла наука в Михася. Уж пороли его, пороли, да природа свое взяла. Зато на отцово дело у него рука сразу стала. И нет во всех селах, что ближних, что дальних, такого мастера, который с Михасем сравнится. Он и за тяжелые бычьи шкуры возьмется, и драгоценную лису не спортит... как есть призвание.

– Или вот человек малосильный, допустим, попытается в боевики пойти... желание – оно-то ладно, да только куда ему потом, когда он только и способен создать, что шарогневик? Или бывает еще, что родители желают видеть дитяtko в ученых, а в нем сила кипит, не дает покоя... так что, сударыня Зослава, надобно хорошенько свой выбор обдумать. Вот чего вам от жизни надобно?

Чудной какой вопрос.

Того же, чего и всем людям.

Мужа доброго, деток справных, да чтобы дом – полная чаша, и житья мирного.

Так я ему и сказала. Михайло Егорович хмыкнул, взгляд кинул хитроватый да бороденку куцую в кулачок зажал.

– Экие у тебя желания... правильные.

– Отчего правильные?

Только за бороденку себя дернул и поинтересовался:

– А что ж ты, сударыня Заслава, за своими желаниями аж в Академию поехала?

– Так я того... не за желаниями, я за женихом...

Михайло Егорович аж крякнул. И пришлось пояснить:

– В дома-то нету никого... нет, парни есть, да все...

– Не те, – задумчиво произнес он. – За женихом, значит... что ж, цель не хуже иных прочих. Во всяком случае, конкретная и честная. Но тогда, сударыня Зослава, тебе не на целительский факультет поступать надо. Там девки одни, парней раз-два да обчелся...

Замолчал Михайло Егорович, да только я и сама поняла. Где девок много, а мужиков мало, там грызня. Небось, замуж не только мне охота, вот и будут одна перед другой рядиться, казать свои стати да умения, пока край не потеряют. Видела я такое в позапрошлом году, когда старостин младший сын еще холостым был. Ох и грызлись помеж собой девки, что собаки за бычий мосел. А он, ирод такой, знай себе ходил гоголем да приговаривал, что самую лучшую выберет... долго ходил, пока батька евоный за хворостину не взялся.

Сам женку и подыскал.

Нет, не хочу такого...

– На факультет общей магии лишь бы кого не возьмут... теоретический... боюсь, сударыня Зослава, с некоторых пор сей факультет уже и не магический, пристанище для младших дворянских детишек, которым образование надобно, как этой карете пятое колесо. Но родители платят золотом. А золота, сами понимаете, мало не бывает.

Золото у меня имелось, но вот были и подозрения, что на учебу его не хватит...

– Тем более нынешний год... Стихия... тут надобно иметь ярко выраженную доминанту, которой у вас нет.

– Отчего ж нет?

– На ауре отразилась бы, – ответил Михайло Егорович. – Стихийники имеют весьма четкие метки, но силой вас Божиня не обделила. Остаются два факультета. Мертвых сфер и боевой... некромантия, подозреваю, вас не привлечет.

Я мотнула головой: уж не было печали с мертвяками возиться. Девушка я крепкая, конечно, но уж больно брезгливая...

– Значит, боевой... – Он окинул меня цепким взглядом, точно барышник лошадку. – А скажите-ка, сударыня Зосенька... как вас по батюшке?

– Вильгельминовна, – розовея, призналась я.

– Вот даже как...

– Зослава Вильгельминовна Берендеева, – я произнесла полное имя и глянула с вызовом. И что, что батюшка мой был не из наших краев? Он о той своей жизни и вспоминать-то не любил, повторяя, что ничего-то хорошего в ней и не было. Зато и прижился тут, и жил, пока не сгинул, за эту самую землицу и сгинул, как за родную.

– Берендеева... а дед ваш часом...

Я вновь кивнула.

– От и чудесно... просто замечательно, – Михайло Егорыч прям-таки разулыбался



весь. – Смело идите на боевой... там вы точно себе жениха подыщете... там этих женихов – целый факультет.

И хихикнул так странненько.

– А если вдруг завернуть попробуют, то покажите им вот это. – Михайло Егорович протянул серебряную монетку с дыркой...

# Глава 4

## О столицах и первых сложностях поступления

– И позвольте узнать, откуда у вас эта... вещь? – Люциана Береславовна, мою монетку увидав, ажно с лица спала.

Правда, того лица на ней...

Но верно, сказывать надобно по порядку.

Возок наш остановился перед трактиром «Зеленая голова», однако же Михайло Егорович – вот любезный человек, не чета иным, – отсоветовал в нем нумера брать. Дескать, комнатки тесные, грязные и просят за них втридорога, думая, что ежели человек не из местных, да притомившийся с дороги, то ему недосуг новое пристанище искать. Михайло Егорович выловил мальчишку, каковых у трактира крутилось множество – от бездельники! – и велел проводить меня к «Вяленой щуке».

Там я и заночевала.

Признаться, спала крепко и мысли всякие пустые меня не тревожили. Проснувшись спозаранку, я и принялась готовиться к поступлению.

Проверила бумаги отцовские, взгрустнула слегка – он бы, верно, за меня порадовался...

Умылась студеной водицей.

Косу переплела.

И из дедова туесочка наряды свои достала, впервые пожалев, что взяла-то всего пять... три – простенькие, на каждый день, а два – уж на особый случай.

На spodнюю тонкотканную рубашу надела горничную<sup>[1]</sup> из алого шелку с рукавами в десять локтей. Самой подбирать их оказалось жуть до чего неудобно, но ничего, справилась. Запястьями узорчатыми сверху прижала, оно и ладно вышло.

Поясочком перехватила.

А сверху летник накинула, тоже красивый, из темно-зеленого переливчатого аксамиту, отрез которого еще моим тятенькой куплен был. Шили-то уже мы с бабкой, а расшивала я, как водится в Барсуках, самолично. Вот и вился по подолу вьюнок, поднимал робко розовые колокольчики цветов... помню, долго нитки искала, чтоб ложилось гладко да славно. А теперь от гляжу и понимаю, что не зря мучилась.

Ленты в косы.

Бусы в семь рядов на шею.

Перстни, серьги и венчик узорчатый. Кривые чеботы из бархату да на каблучке. Новехонькие, ни разу не надеванные... иду, и каблучки звенят-цокают.

Люд встречный расходится.

Сама себе не пава – лебедушка... не иду по мостовой – плыву... и плыла бы так до самой Акадэмии, да только энта мостовая уж больно грязною оказалась.

Да и идти неблизенько.

И солнце с каждою минутой выше подымается, щедрей припекает. А еще подумалось, что пока я пешью дойду, то у ворот Акадэмии очередь выстроится.

Пришлось брать бричку.

И главное, мужичок хитроватый попался, увидел меня этакую раскрасавицей и цену несусветную заломил – в полтора рубля серебром. Небось, не думал, что торговаться стану.

А я что? Я ж, пусть и вырядилась, барыня барыней, так то неспроста, но по случаю. Деньгами ж раскидываться я вовсе привычки не имею.

Долго рядились.

Сговорились на десяти грошах.

И он после еще всю дорогу плакался, будто бы я его в разорение ввожу... но ничего, доехали аккурат к полудню. К самым воротам подвез. А ворота те распахнуты. И люду у них – великие толпища, небось, и на ярмарке ежегодной я столько не видела.

Аж сердце заняло.

Неужто все в Акадэмию собрались?

А мужичок знай себе в бороду усмехается: мол, не ждала, красавица?

– Дяденько, – я протянула ему на пять грошей сверх оговореного. – Сподмогните советом. А то ж совсем в ваших столицах потеряюся.

И лицо сделала жалостливое, едино слезу не пустила.

Он разом приосанился, бороденку рыжую включенную ручищей огладил и молвил так:

– Ты, девка, не пужайся. Народу тут много, особливо по нынешней поре. Но ищи студиозуса... вон хотя б того, – он указал на парня в черном коротком кафтанчике. – Видишь, по форме он... и с эмблемою на грудях. Значится, или студиозус, или из магиков кто. Вот к нему и иди, говори, что ты, мол, на экзаменацію документы отдать желаешь.

– Спасибо, дяденька, за ласку, – отвечала я и поклонилась до самой земли, небось, спина не переломится, а человеку приятно.

– Эх, девка-девка... чего ж тебе дома-то не сиделось? – Дядька подобрел, хотя монетки все взял да в кушак упрятал.

– А остальные-то кто?

– Кто из родичей, вовнутрь-то только соискателей пуцають. А иные соискатели не одныя, вот как ты, а с мамками-тятками, бывает, что и с нянюшками, с холопами и холопками... вона, поглянь.

Он указал пальцем налево.

А там... возки один другого краше. И о двух колесах, и о четырех. И преогромные, с домину величиной, и крохотные, будто бы детские. С золочением, с червлением, с резьбою всяко-разною... а при возках тех иной люд вертится.

Тут и конюшие, и служивые с бердышами важно прохаживаются. И барыни в шубках одна перед другою красуются, ведут беседу неспешную, и бояре в высоких каракульчовых шапках стоят, истуканы истуканами. А промеж них суетится дворня. Кто с подносом, кто с коробом. С кувшинами запотевшими, со стаканами аль полотенчиками... и скачут помеж возков карлы шутейные, кривляются всячески.

– Это же ж...

– Бояре, – сказал мужичок да на землю сплюнул. – Только и им в Акадэмию ходу нет, а ты, девка, иди... и пусть Божиня за тобою приглядит...

Вышло все так, как мужичок и говорил.

Я ухватила того самого парня, в черном кафтанчике, и сказала, что, дескать, в Акадэмию, он только кивнул да вздохнул тяжко, видать, крепко умаялся.

– За мной, – велел он и пошел к воротам. И главное, что так ловко, угрем скользил меж людьми, что я едва-едва поспевала. Меня-то пропускать не торопились. Напротив, норовили то дорогу заступить, то локотком острым ткнуть, то прошипеть чего недоброго вослед.

Провел парень меня через калиточку и, махнув рукой на желтую дорожку, велел:

– Иди прямо. Никуда не сворачивай. Там и выйдешь к главному зданию.

Я и пошла.

Не особо спешила-то, потому как прелюбопытно мне было поглазеть. Там-то еще неведомо, как оно сложится-сойдется, вдруг да выпадет домой возвратиться. И станут меня спрашивать, что про столицу, что про Акадэмию. Так и чего сказать будет?

Шла... дорожка пряменькая.

Чистенькая.

Слева травка растет. И справа тоже... зелененькая, нарядная... пригляделась – клевер один. Хорошее сено вышло бы, да только незаметно было, чтоб тучки косили. Кусты еще заприметила дивные, что и не кусты будто бы, а конь вот зеленый стоит... или змей преогромный протянулся... попервости даже испужалась, а после поняла, что стригли их этак хитро.

Были тут и деревца, да какие-то махонькие, будто бы заморенные, и камушками вокруг еще обложенные... и сами камни из земли торчали, то там, то тут, зубами гнилыми, мхом заросшими.

Так и дошла.

Что сказать, строения была огромной.

Длинная, что общинный коровник, только и высокая. По краям – четыре башенки красных, а из крыши еще одна подымается. И на ней уже блестят на солнышке часы преогромные. Я так и стала, этакой красой любуюсь. Вместо цифирей на том циферблате звери дивные, каковые, должно быть, на краю земли только и водятся, а стрелки узорчатые, кружевные будто бы. И самая тоненькая знай скользит по циферблату, скачет от зверя к зверю, время отсчитывает.

А над часами – четверик коней на дыбы поднялся. И голый мужик немалых статей повис на поводьях, должно быть, укорот коням дать желая. Но как по мне – не сдюжил бы... верно, оттого и мужика перекосило.

Во внутренних тоже было красиво, как в палатах царских. Нет, мне-то не случилось в них бывать, однако же ежели где и имелось подобное роскошество, то только там.

Полы каменные, гладкие да узорчатые. Стены – янтарные. И колонны числом в дюжину, тоже янтарем обложены, и свет сквозь острроверхие окна льется, янтарь золотит... и ступить-то страшно. Хотя люди вон ступают смело...

– Помочь? – рядом со мною появился парень в черном кафтане, будто бы из-под земли выскочил. – Ты документы подавать? Я провожу.

От провожатого отказываться я не стала.

В этом благолепии и заблудиться недолго... вона людей сколько ходит-бродит с лицами презадуменными. Иные и губами шевелят, не то молятся, не то с собою спорят. Лбы морщат. За носы себя щиплют...

– Сначала надобно зарегистрироваться у секретаря...

Паренек был щупленький и верткий, что ерш. И волосы его, стриженные коротко, на голове подымались аккурат что иглы ершовые. Так и тянуло их пригладить.

Вел он меня быстро, и опомниться не успела, как встала перед дубовою дверью, после была другая дверь, и третья, и четвертая... и вскорости я уже сама со счета сбилась.

Заявление.

И еще одно.

И ходатайство, которое я писала с образца, дивясь тому, до чего гладенько оно

составлено, так, небось, не каждый боярский писарчук сподобится.

Говоря по правде, от бумаг голова шла кругом.

Мне совали то одни, то другие, то третьи... и то писать надо было, то черкать, то еще чего... и когда я, наконец, добрела до экзаменаторов, сил на волнение уже не осталось. Я глядела на очередные двери, вновь же солидные, с резьбою и медными, начищенными до блеска ручками, и думала, что хоть пополам тресну, поступаючи, а сумею в энту Акадэмию пробраться.

Из упрямства свою урожденного.

И чтоб не зазря переведены были все те бумаги, мною исчерканные...

– Заходи, – раздался тоненький дребезжащий голосок, и из двери выглянул домовый. Был он под стать хозяйству, солиден без меры, важен. И длинный красный нос драл в гору, и всем видом своим выказывал ко мне, гостье, неуважение. Оно и верно, меня-то пока уважить не за что, да только и ему, хозяину, в этакой манере чести немного. – Ну, чего встала?

И кулачком еще пригрозил.

Смотрю, совсем они туточки страх потеряли. Но промолчала, покачала головой укоризненно и вошла. А как вошла, то и обомлела.

Камень?

Камень как есть, да только не теплый янтарь, и не мрамора, которую я тоже успела повидать и пощупать сумела, нет, нынешний камень был полупрозрачным, точно и не камень – лед. И неуютно стало... холодно... окна закрыты, а будто бы сквознячком по ногам тянет... и холод пробирается, что сквозь летник, что сквозь рубахи. Запястья и те заледенели. А бусы – что рябина мерзлая, инеем покрылись.

## Глава 5

# Про экзамены и экзаменаторов, а также ущемление прав по сословно-половому признаку

– Девушка, вы там долго стоять собираетесь? – раздался скрежещущий голосок, и я очнулась.

И вправду, встала, что баран перед воротами, осталось только рот от удивления раззявить, и совсем ладно будет.

На ковер, бело-синий, узорчатый, я ступила смело. Хотя и сквозь ковер, и через чеботы, чувствовался тот самый, нездешний холод.

А ковер лег дорогой от дверей к окнам.

У окон столы стали широченные. А вдоль них – лавки протянулись, застланные мехами плотно, густо. Экзаменаторы и вовсе в шубах сидели.

И шубейки-то не из простых.

Вон женщина, по виду ну чисто боярыня, в чернобурку кутается, а рядом с нею мужик сидит преогромный, что камень-выверть, который еще с тех времен остался, когда Святогор-горошек со Змеем землю делили. Говорят, такие камни по всей границе стоят. Некогда великой силы полны были, берегли землю Росскую, да, видать, поиссякла сила.

Не уберегли.

Лицо у мужчины безбородое, будто голое. И брови черные лохматые на нем глядятся жутко, за ними и глаз не видать.

К нему сухонькая старушка жметя, что ива к старому дубу, и вид у старушки ласковый, глядит на меня, улыбается, а глаза мертвые. Я руки за спиной кукишем скрутила. От таких взглядов и волос сыпаться начинает, и кожа вянет, а то и вовсе ночные сны дурными становятся. А шуба у старушки самая богатая, из темных, почти черных, соболей. И накинута этак на плечики легко, так, что видно и платье, расшитое скатным жемчугом, и ожерелье-нагрудник, и широкие, не чета моим, запястья.

– Значит, ты, деточка, в Акадэмию поступить решила? – заговорила она, а голосок-то оказался звонкий, детский будто бы, никак краденый.

Слышала я о таком, когда колдунья-чернодейка подсовывает дитяти дудку из мертвой березы, изнутри вересковым медом мазаную. Вот голос-то на мед и выманивается. А колдунья его опосля и выпивает, а дитяти свое хриплое карканье отдает, если не хуже... бывает, что и немеют дети, и маются опосля всю жизнь.

Нет, не понравилась мне эта старушка.

А девка, по правую руку ее сидевшая, тем паче. Эта в шубы-то закуталась по самый нос, а нос оказался длинен невмерно и еще широк. Оттого и казалось, что нет на этом лице ничего, помимо носу. Зато он был зело подвижный. То шмыгнет, то складочкой пойдет, то вовсе покрасневший кончик его, на котором проклюнулось зерно бородавки, круга опишет, будто бы девица принюхивается.

Чего чует?

– Отвечай! – велела она и по носу ладонью мазнула. – Не тьяни время... и без того умаялись уже.

Голос ее я узнала, тот самый, скрипучий, точно ставни несмазанные.

– Тише, деточка, – старушка к ней и не повернулась. – Не видишь, девушка оробела. Пусть успокоится, придет в себя... а ты, милая, не чинись, ближе подойди.

И пальчиком меня поманила.

Пальчики тоненькие.

На них – колечки с камнями, на каждом по два, а то и по три, и камнями переливаются, искрятся. Я только и сумела взгляд отвести, у самого стола оказавшись.

Это что такое было?

– Не сердись, Берендеева дочь...

– Внучка, – поправила я.

– Берендеева внучка, – старушка вновь усмехнулась, да только глаза ее не отжили. –

Я лишь хотела избавить тебя от ненужных страхов...

– Я не боюсь...

– Вот и ладно. Тогда, будь столь любезна, подай бумаги Мирославе.

И девка со скрипучим голосом руку протянула. У нее перстенок был только один, да и тот без камня, простое колечко на мизинчике.

Папку с бумагами, мне врученную, я протянула не без опаски. Видно же, что характера сия девка самого препаскудного. А ну как учинит какую каверзу?

– Зослава... Вильгельминовна, – сказала девка, пролистав мои бумаги. – Из села Большие Барсуки... Божиня милосердная... Большие Барсуки...

И перекривилась, будто бы чего непристойного прочла. А что? Село как село. Немаленькое, за между прочим. У нас и храм свой имеется, и гостинный дом, в котором, правда, гости случаются нечасто, зато есть где собраться и старикам, и молодым зимою, истории всякие послушать, песни попеть или в игры сыграть...

– Напрасно, Славонька, кривишься, – сказала старушка, в голосе ее ледок зазвенел. – Не всем же столичною родней хвастать.

Мирослава вспыхнула.

– Дамы, – мужчина покачнулся, а мне подумалось, что ежели он вдруг повалиться вздумает, то стол этот его не выдержит, хоть и дубовый, солидного виду. – Давайте уж делом займемся. А вы, девушка, кладите руки на шар.

И пальцем ткнул в этот самый шар, выточенный из того же камня-стекла. Был шар невелик, с телячьей головой, да только холодком от него тянуло крепко.

Руки? Так и отморозить недолго.

– Не надо бояться, деточка. Мы лишь измерим уровень твоей силы.

Да не боюсь я! Не пугливая уродилась. И шар обеими ладонями накрыла.

– Хорошо. А теперь глаза закройте.

Закрыла.

– И попытайтесь его согреть.

От это дело не из легких. В руках – не шар, живая поземка, которая за руки эти кусает, пробивает каждый пальчик сотнею игл. И бросить бы, да только я бросать дело на половине не привычная. Шар сжала, зубы стиснула.

Согреть?

Согреет.

Жар рождался внутри.

Как в кузнечной печи... как в черной яме, в которой ходит болотная руда, прежде чем прольет слезы сырого железа... и этот жар плавит меня саму.

Одолеть норовит.

Да только не на ту напал. Я губу закусил, верно, до крови, потому как стало во рту солоно. И шар треклятуший держу, лью в него новорожденное пламя. Тесню холод...

– Достаточно, – раздался над самым ухом глухой рокочущий голос. – Мирослава, отметьте, пожалуйста, что испытываемая подняла планку до седьмой ступени... даже восьмой.

– Седьмой, – упрямо проскрежетала Мирослава.

– Если вам так будет легче.

Я глаза открыла.

Шар был... желтым? Янтарным. Да с переливами...

– Восьмой, седьмой... – проворчала женщина в чернобурках и, вытащив из муфты руку, поднесла ее ко рту. – Какая разница... для целительницы и третьей хватит. Заканчивайте уже... беседовать.

Говорила она томно, негромко, однако же на слух Зося не жаловалась.

– А я не к целителям пойду. – Руки жгло, и ладони покраснели, будто бы я их и впрямь в печку сунуть глупость имела.

– Куда еще? На отделении общей магии конкурс высокий. И там вы, милочка, уж простите, не пройдете. Сила-то у вас имеется, да к ней и знания надобны...

Я мотнула головой.

– К теоретикам? – женщина вытащила другую ручку, беленькую холеную, с ноготочками розовыми, аккуратными.

– К боевикам... – Я и подбородок задрала, чтоб выше казаться, хотя ж рост мне Божиня дала не девичий... небось, в нашем селе выше меня только Миклухо-кузнец, да и то на два пальца всего.

– Куда?

Мирослава хихикнула.

Мужчина поднялся. А поднимался он неторопливо, будто бы и вправду из камня выточенный. И шуба медленно сползала с широких его плеч.

– Дурная шутка, – пророкотал он.

– Я не шучу, дяденька. – Я глядела на него снизу вверх и думала, что, небось, мой дед был таким же... преогромным... и люди сперва крепко его опасались, пока не поняли, что норову он спокойного. – Я...

– Не шутишь, стало быть...

Он обходил меня кругом, ступая мягко, неслышно.

И сам себе ответил:

– Не шутишь... что ж, Зося, возражений не имею.

– Фрол Аксютрович! – воскликнула женщина, тоже поднявшись. – Вы это серьезно?!

Он лишь пожал плечами, а у меня прямо от сердца отлегло, преисполнилась я уверенности, что теперь-то точно поступлю.

– Вполне. Не вижу причин для отказа.

– Но она же... она же женщина!

– Айиры тоже женщины. Но воют. И учатся. Напомнить прошлогодний выпуск? Там их четверо было.

– Исключение!

– Где одно исключение, там и другое. – Рокочущий его голос заполнял зал, и стены его темнели, будто бы не по нраву им, стеклянным да холодным, был Фрол Аксютрович.



– Но... но она же...

– Вы спешите, дорогой Фрол, – сладенько пропела старушенция, которая встать и не подумала. – Сами подумайте, какой скандал разразится... чтобы простая девка, холопка, почитай, вчерашняя...

– Я не холопка, – ответствовала я и кошель стиснула.

– Конечно, конечно... из вольных, деточка, холопам тут делать нечего...

– И не из вольных.

Отцовские грамотки я протянула Фролу Аксютовичу, в котором углядела человека серьезного да ко мне расположенного. Этаким не станет пакостить зазря.

– Интересно, – он развернул пергамент пальцем. – Весьма интересно...

– Да что там может быть интересного!

Женщина подошла и требовательно протянула руку.

– Надо же, – произнесла она спустя минуту. – А вы у нас, выходит, долусийская княжна...

– Быть того не может! – носатая Мирослава тоже вскочила, но тут же опустилась на лавку.

– Отчего не может... может... все законно. Свидетельство о браке... заключен, как и положено, в двух храмах... патент офицерский... выписка из геральдической книги... перевод, заверенный по всем правилам... и вновь выписка... гербовый договор... титул ее батюшки принят Царскою палатой, а значит, все законно.

Фрол Аксютович протянул бумаги мне.

– Это ничего не меняет, – женщина в чернобурке развернулась на пяточке. – Вам ли не знать, что в Далусии князей больше, чем собак бродячих. Любой оборванец при шпаге вам о великих предках расскажет...

– Пусть так, но и по нашим законам девушка княжна... хотя мне, признаться, едино. Мне ли вам напоминать, любезная Люциана Береславовна, что по уставу Академии все студиозусы равны?

– Еще скажите, что и вправду в это верите?

Он хмыкнул, не пойми, не то согласился, не то наоборот, но больше ничего не сказал. А Люциана Береславовна одарила меня раздраженным взглядом.

– Милочка, вам все же лучше в знахарки пойти...

Вот чего я никогда не любила, так это того, когда мне указывали, чего мне лучше будет. Тогда-то отцова кровь, кипучая, и просыпалась.

– Нет. – Я подбородок подняла.

Быть может, энта самая Люциана Береславовна и колдунья немалое силы, и боярского роду старинного, а все одно, не хозяйка она мне.

И жизнь не ее, моя решается.

– Деточка, подумай... чего тебе среди боевиков-то делать?

Я прикусила язык: сдается мне, что не оценят тут правды, а лишь поводу для отказа сыщут. Уже вон ищут. Хмурится Люциана Береславовна, стучит коготочком по столу. Улыбается недобро Мирослава. Старушка глаза прикрыла, только пальцами шевелит, будто паучиха старая паутину плетет.

И разом похолодело внутри.

Нет уж. Не отступлюсь. И пальцы сами веревочку нашарили, на которую я монетку дареную подвесила, для надежности, стало быть.

– Вот, – сказала я. – Возьмитя. А я все одно боевиком стану...  
И Фрол Аксютович усмехнулся, показалось, с пониманием...

## Глава 6, в которой все ж таки решается судьба Зославы

Ох и не по нраву им пришлось монетка.

Мирославу перекурило аж, навроде того мужика мраморного, который коней держал, старушка налилась нехорошею краснотою, за сердце схватилась, заохала.

Люциана Береславовна и вовсе сделалась бледною.

– Все равно, – сказала она очень тихо, да только слух у меня от деда, а он в стог сена мышинное гнездо по шубуршанию вытрапить способный был. – Это... невозможно!

– Будто бы у нас есть выбор, – так же тихо ответила старушка.

– Он... он окончательно потерял край! В конце концов, этот его поступок... он явно свидетельствует о душевном нездоровье...

– Аккуратней, милочка. И у стен есть уши... но куда печальней то, что у нашего Мишеньки имеются покровители...

Старушка подняла меховой воротник, и речь ее сделалась вовсе неразличима.

– Но они разумные люди... и быть может, задумаются над тем, что слишком уж потворствовали его прихотям...

– И вы хотите сказать, что... – Люциана Береславовна склонила голову, разглядывая меня с таким интересом. – Нет... все-таки это как-то совсем уж чересчур...

– Отчего? Мы лишь подчиняемся его воле...

– Но наследник престола и это... простите, недоразумение... на одном курсе...

– Именно, дорогая моя... недоразумение, которое, полагаю, в самом скором времени будет улажено.

Ох и не нравился мне этот разговор. Вот вроде и слышу каждое словечко, а все одно ничегошеньки не понимаю. Только чую, что не след мне от таких бесед добра ждать.

– В следующий раз он, возможно, будет лучше думать, кому давать рекомендации... – Люциана Береславовна подвинула монетку ноготком и, обратившись уже ко мне, голосочком сладеньким произнесла: – Это в корне меняет дело! И если вы уверены...

Не уверена.

Ни на грошик.

Да только не отступлю, потому как упрямая... и гордость княжеская, каковая прежде спала крепким сном, вдруг очнулася. Не могу я. Не сейчас. Не перед ними.

И я кивнула.

– Уверены... что ж, тогда, быть может, сразу и решим вопрос со специализацией? – Люциана Береславовна соизволила одарить меня улыбкой, да от той улыбки пожалуй что и вода в речке замерзнуть могла. – Какое направление вас привлекает?

– А... какие есть?

Зажмуриться бы да и представить, будто бы я дома. Сажу на лавке, семки лужаю да с девками о своем, девичьем, беседы веду, неспешные, важные. А бабка в доме хозяйствует и разговор наш слушает. Завсегда слушает, только я о том подруженькам не рассказываю, обидятся еще.

Бабка ж, она не специально, а потому как слух у ее такой же вострый.

Зато и самовару она сама б затеяла, и кликнула бы всех...

Эх, хорошо дома...

– Всекие есть, – ответствовала мне Люциана Береславовна с тою же сладенькой усмешечкой. – Есть кафедра драконоборчества...

Я покачала головой: откуда в Барсуках драконам взяться? Нет, мужики поговаривали, что в тот год, когда война только-только отгремела, в наших лесах поселился змейник да повадился скот таскать, баб пугать. Вот старосте и пришлось облавою на него идти, пока он, подросши, на людей не перекинулся.

С того змейника все наши, кто в облаве шел, пояса себе поделали.

Бабка и мне справила, хороший, гладенький да крепкий, такому сто лет сносу не будет. Но то ж змей, а драконы... драконы с виверниями в горах обретаются, которые от наших Барсуков далече. Я же опосля учебы домой возвратиться хочу.

– Значит, не устраивает...

Милослава тож заулыбалась, гаденько так...

Фрол Аксютрович тяжело вздохнул и сам заговорил, видно было, что не по нраву ему этакая экзаменация, да только супротив баб он рта не откроет. Оно и верно, с бабою злою спорить, что кошку голыми руками ловить. Может, и не задерет до смерти, да потреплет знатно.

– Есть еще кафедра борьбы с нечистью. Там учат, как упокоить упыря или вурдалака, управиться с ожившим покойником. Одолеть мавку или мару...

Вот он говорил спокойно, только на меня не глядел. И я вновь головой покачала: упырей с вурдалаками в Барсуках отродясь не было, а если вдруг и объявятся, то с ними и без Акадэмии разговор короткий. С мавками наш люд ладит, и с русальницами...

– Есть кафедра средств и методов защиты от магии и магических созданий... думаю, она вам подойдет.

И я вновь кивнула.

А что? Чем плохо? Дом-то завсегда охота оборонить...

– Вот и славно, – старушка подавила зевок. – Будем считать вопрос закрытым.

И ручкой этак махнула, мол, можешь, Зосенька, идти...

Я и пошла.

– погоди, – пророкотал вслед Фрол Аксютрович. – Найдешь кого, скажи, чтобы к общежитию проводили...

Найду.

Как-нибудь да не заплутаю.

Вышла я через другую дверь, за которою узкий коридор обнаружился.

– Ну, – недовольно поинтересовался домовой. – Чего встала? Иди уже...

Я и пошла.

Только почти сразу и остановилась, за стену ухватилась, потому как вдруг разом колени ослабли и такая немота на все тело накатила, что спасу нет.

Закричать?

Так и слова не смогу вымолвить, сердце то колотится, то обмирает, перед глазами мушиный рой пляшет. В ушах гудит. Ни руки поднять не могу, ни пальчиком даже шелохнуть.

– Присядь, – велел кто-то и в плечо толкнул, я и упала... упала бы, когда б не лавка, у стены поставленная. На нее и плюхнулась, к стеночке прислонилась.

Помру.

Как есть, Божиня, помру... и в вырай ли попаду аль в огненную реку, где Змей грешные

души жреть... в огненную реку никак не хотелось.

– Ты вдыхай глубоко, через нос, – говорил кто-то и по щекам хлопал, легонько этак, а я все вдохнуть силилась. – Давай, а то не отпустит...

Дышала.

Так дышала, что аж груди ломить стало, и ребра заныли, и закашлялась, и кашляла так, что пополам согнулася, а откашлявшись, поняла, что полегчало мне, и крепко.

– Спасибо, – сказала я, а после только глянула на того доброго человека, который мне сподмогнул.

Парень.

Высоченный такой. И в плечах широкий, и лицо белое, чистое... нашим бы девкам понравился. Волосы только длинные отрастил, впору самому косу плести. А он стянул шнурочком кожаным. На шнурочке том – серебряные обережцы болтаются.

Одет же скучно, в черный кафтанчик, что и у всех, только у него – поношенный крепко, и на рукаве – латочка квадратная, аккуратненькая. Черные штаны с кожаными кругами на коленях, небось, тоже продрались. И сапоги истоптанные, некрасивые.

Небогатый, сразу видать.

– Новенькая? – спросил, присев рядом. – Долго что-то они тебя мурьжили. Замерзла?

Я кивнула, поняв, что и вправду продрогла до самых до костей, а то и глубже. И теперь холод отзывался дрыжиками.

Зубы клацали.

Пальцы тряслись.

Красавица, нечего сказать...

– На от, выпей, – парень протянул флягу. – Чай это с малинкой. Быстро согреет.

– Спасибо.

Выпила.

Чай и вправду хороший, духмяный, и тепло от него по всему телу разлилось-расплылось...

– А ты тут...

– Дежурю, – сказал он. – Ловлю тех, кому плохо становится. Еще Весь есть, но он отошел... вернется скоро. А ты...

– Зослава, можно Зося. Меня все так называют.

– Я – Арей.

И замолчал настороженно.

– Красивое имя... нездешнее...

– Азарское...

А теперь понятно, отчего молчит. Небось, после войны азаров туточки крепко не любят, и ему доставалось...

– Не больно-то ты на азарина похожий.

– В отца пошел, – сказал сухо, зло даже. И голову вскинул. А я себя укорила: негоже так с человеком говорить. Он-то мне помог, усадил, чаем напоил.

– Арей... а с чего это я тут вдруг... – Поглядела на свои руки и подивилась, до чего страшными сделались они, не белые – серые, а ногти и вовсе посинели, будто у мертвяка. – Ох ты ж, Божиня...

– Пройдет. – Арей присел рядышком и, руку взяв, тереть принялся. – Это комната такая, силы тянет, что магические, что живые. Видела, каким камнем обложена?

Мне было неловко, хотя ж ничего-то дурного он не делал.

– погоди, их размять надо, а то видишь какие пальцы? Если размять хорошенько, то потом набегаешься по целителям. Бельнь-камень на проклятом острове добывают... там, говорят, ничего живого нет, да и неживого. И люди там тают быстро, оттого и ссылают на тот остров самых страшных лиходеев, какие только есть. А глядят за ними маги-отступники. Им-то за год, на острове проведенный, все грехи прощаются... только тот год редко кто выдерживал.

Он говорил тихо, а в глаза отчего-то не глядел.

– Здесь две комнаты с бельнь-камнем. Зал экзаменационный и карцер...

Щека его дернулась.

И мне вдруг захотелось погладить Арея по волосам. Вона, рядышком макушка, руку протяни... только как бы не обидеть.

– А зачем они тут...

– Чтобы посмотреть, сумеет ли человек дар раскрыть хоть сколько бы... и побережься... было дело, огневик так разволновался, что с пламенем не совладал. Если бы не камень, спалил бы весь зал... стихийники – они очень неустойчивые, а боевики часто злятся и не всегда себя контролировать способны. Специфика такая.

Он поднялся.

– Сама-то до общежития дойдешь?

Кивнула.

Слабость отступила. И ноги держали. И голова кругом не шла, и только в сон клонило, но ничего, вот дойду до этой их общежитии...

– По коридору прямо. А там – по дорожке. Красное пятиэтажное здание. Не пропустишь...

– Спасибо тебе!

Поклонилась бы, да только показалось вдруг, что не по душе придется новому моему знакомцу такая любезность... ничего, после найду, как отблагодарить.

Небось, в нашем роду добро забывать не принято.

Как и зло.

# Глава 7, где рассказывается о Зосиной жизни, а так же о ее семье

Поселили меня под самую крышей.

Пять этажей.

Лестница широченная со ступенями крутыми.

И комендантус, сурьезного вида мужчинка в красном долгополом кафтане, долго вздыхал, на меня глядячи. А так хитро глядел! То левым глазом прищурится, то правым.

Губы вытянет.

Причмокнет.

Пятерню в бороду сунет, а она и без того всклоченная, неопрятная.

– Вот и чего с тобою, девка, делать? – спросил он, как будто бы я знала. – Боевики все на пятом этаже обретаются, да только женских покоев там нетути. Цельную комнату тебе одной отдавать?

Покачал головою и вновь за бороденку свою принялся.

– Таки не боярыня, чай... и немашека комнат лишних. Никак немашека...

Он вновь губами причмокнул, каковые были крупными, розовыми и лоснились еще.

– Стало быть... стало быть, одно остается...

А по ступенькам комендантус скакал бодро, козликком молодым. Со студиозусами, когда встречались на пути, вел себя по-разному. С одними раскланивался, других будто бы и вовсе не замечал, а третьих увидав, хмурился, бороду свою мочальную дергал. Однако же люду в доме энтот, который сперва показался мне огромным, едва ли не больше Акадэмии, оказалось на диво немного.

– Это сейчас, – ответил комендантус, когда я решила вопрос задать. – Вот вакации закончатся, тогда и приедут... идем. Умывальни в подвалах. Читальная зала и столовая – на первом этаже. Там же – комната для отдыха и игр. Хотя... она для боярских детей, с тебя и читальной залы будет.

С лестницы он свернул в узенький коридорчик, в котором пришлось пробираться бочком, благо был он невелик и заканчивался не тупиком, но обшарпанною дверью. Такую в Барсуках и на скотный двор не поставят.

– На. – Комендантус снял с пояса связку с ключами и, перебрав все, вытащил один, кривой да поржавленный. – Владей. Убереешься сама. И за порядком дальнейшим на вверенной тебе территории тоже сама следишь. Снедать будешь в столовой. В комнате скоропортящихся продуктов не держать. Конечно, ежели на стазис-ларь расщедришься, то дело иное... тряпки в каморе возьмешь.

Он указал на соседнюю дверцу.

– Белье домовой опосля принесет. Меняем раз в две седмицы. В остальном усе просто: не пить, не шуметь... девок...

Он поперхнулся и исправился:

– Мужиков гулящих не таскать.

– А есть такие? – Про девок гулящих мне слыхать доводилось, но чтоб мужики этаким делом промышляли...

– Это столица! – комендант ткнул пальцем в мой живот. – Тут есть все...

И ушел.

Я же осталась в закуточке с ключом в руке.

Что сказать... в этакую комнатку только мышей и селить. Узенькая, зато с окошком, в которое самонастоящее стекло вставлено. Толстое, прозрачное.

То бишь некогда оно было прозрачным.

Я провела пальцем по стеклу и вздохнула: если тут и убирался, то не в нынешнем годе.

Ключья пылищи по полу гуляют, углы паутиной затянуло плотно, густо. А железная кровать, красивая, с шишечками, и вовсе ею заросла. И то сказать, что помимо кровати в комнатке этой был крохотный столик и закуточек, в котором я обнаружила таз с рукомыником да ночную вазу прехорошенькую, в цветы расписанную... и куда ж мне ее носить-то с пятого поверха?

Это я у домового и спросила, когда появился с бельем – и матрацу принес, соломой набитую, и подушку, пусть и скуденькую, легенькую, да все лучше, чем ничего. Зато простыночки накрахмаленные, накатанные до гладкости и пахнут хорошо.

– Деревня, – укоризненно покачал головой дедок, выглядевши не в пример дружелюбней того, акадэмического. – Тут центральная канализация. Ничего и куда носить не надобно. Гляди.

Он взял кувшин и плеснул в ночную вазу.

Что-то скрежетнуло, и водица разом исчезла.

Вот оно как... а куда ж все девается-то?

– В подвалы, в чаны специательные. – Домовой огладил круглый живот, который был, однако, не столь велик, чтоб им можно было похвастать. Видать, хлопотно ему тут живется, оттого и не растут ни живот, ни борода... – С тех чанов опосля на поля, для удобрения-с.

Это я уже разумела.

И домового за науку поблагодарила от чистого сердца. Хлебом бы угостила, да не взяла с собой свежего... надо будет в столовой их глянуть, авось и сыщется кусочек для бабушки.

С домовыми я завсегда в ладу жила, оттого и дом наш был доглежен, и пироги ходили ладно, и молоко не кисло, а когда и кисло, то по просьбе. Сыры у бабули получались знатные, этаких во всей деревне не сыскать. А про квас и вовсе молчу.

– А ты, гляжу, девка рукастая. – Домовой прошелся по комнатке, которую я худобедно привела в порядок. – Не чураешься грязное работы... не то что иные... хочешь, Зося тебе половичка принесу? Из списанных... там дырочка малехонькая, заштопаешь...

Конечно, я хотела.

Нет, ежели бабке отпишусь, то пришет она мне и половичков узорчатых, и занавеси на окна, те, с георгинами, которые я самолично расшивала, и покрывало на кровать, и подушки... и многое иное, да только пока оно соберется, пока дойдет...

Принес он и не только половичок...

– Ты, Зося, на иных не гляди... взяли себе моду... дескать, князя оне... бояре... а значит, ручков своих белых пачкать не моги... а им тут прислужниц нетушки, вот и бесятся... то это надобно, то другое... ты, Зосенька, главное, их не слухай. Будут говорить, что, значит, это обычай в Акадэмии такой, чтоб одни студиозусы другим прислуживали, не верь. По уставу вы все меж собою равныя...

– А как бы это мне на устав сей глянуть?

Чует мое сердце, что неспроста этокое упреждение домового сделал.



– Отчего ж не глянуть, принесу тебе книжицу, читай...

И вправду принес, и устав, и поднос цельный с едой. Был тут и сыр козий, и мясо вареное, щедро рубленую зеленью посыпанное, и расстегаи с рыбой, и кувшин холодного взвару.

– Благодарствую, – сказала я домовому, как оно по чести водится. – Но и вы, Хозяин, не побрезгуйте, разделите со мною хлеб гостевой...

Разулыбался он, довольный, что я верное обхождение знаю, и отказываться не стал. Ели мы молча, неторопливо, как оно меж их народа водится. Аккуратно, чтоб ни крошечки хлебной на стол или же, упаси Божиня, на пол не скатилось. И лишь когда разлил Хозяин взвар по высоким узорчатым кубкам, которые вытащил из-под полы, тогда и нарушилось молчание.

– Спасибо тебе, сударыня Зослава, за приглашение. И раз уж ты столь ласкова к старику, то, может статья, попотчуеть его и рассказом?

– И об чем же поведать тебе, добрый Хозяин?

– А о себе и поведай. Откудова ты родом... из каких краев, в какой семье росла...

Что ж, добрый Хозяин в своем праве, а мне стыдиться нечего.

На свет я появилась в жнивне-месяце. Хорошая пора, горячая. Зерно уж клонится к земле, оттого и спешат снять его, идут на поле с холодным железом, со свежеею требой земле-родительнице, и кланяются, льют пот, что слезы, гонят хлебного волка от краю до краю...

Однако же не о жатве беседа наша.

О семье моей.

И сказывать, верно, надобно с бабки и с того, как село наше едва вовсе пепелищем не стало. Она о том вспоминать не любила, оно и ясно, но порой и на нее нападала тоска глухая по деду, тогда-то гишторию и говорила свою.

В те времена, когда бабка моя только-только в девичью пору вошла, азары в набегу частенько ходили. Много их родила степь, да только прокормить не могла, вот и выплескивалось дикое азарское море на наши берега, разбивалось на ручьи и ручейки, летело, скакало многоногим чудищем.

И Змеев вал уже не был преградой.

Многие беды несли с собой азары.

Смерть сидела в тулах их. А горе рядышком бежало, за стремя ухватившись... и не было, почитай, во всем царстве Росском человека, у кого б не погиб родич от азарское стрелы аль в полон не был угнан. Плакали люди, молили Божию, да только без толку. Вновь да вновь погребальными кострами поднимались к небу что деревеньки, что села, что целые города.

И Барсуки не минула участь сия.

Бабка про набег тот сказывала скупо. Налетели спозаранку. Огненными стрелами хаты обсыпали, мужиков, кто за оружие схватился, порубали, а кто не успел, тех скрутили. Говорила, что потешались они, когда людей ловили... кого на копье возьмут, а кого и сетью опутают... говорила и лицом темнела.

Сама-то она в лес успела выскочить, но псы азарские дело знали, встали на след. И быть бы бабке моей или мертвою, или полонянкой горемычной, да бежала она, ног под собой не чуя, вот и выбежала к запретной поляне, на которой камень старый стоял... там-то ее дед и повстречал.

Глянулась она ему чем-то, ежели вступился.

А может, просто пожалел девку человеческую, потому как и звери на жалость способны... заломал он собак. И азар, тех, которые по следу пошли...

Она на той поляне три дня провела.

Возвращаться и боялась, и стыдилась: она-то уцелела, не то что иные люди... правда, опосля добавляла, что никто уцелевших не виноватил. За счастье было спастись.

Этаких, спасшихся, осталось едва ли с дюжину. Да все то бабы, то дети горькие... и сгинули бы взимку, когда б не дед. Нет, опосля-то и иные возврататься стали. Азары те, когда полон гнали, на княжие войско наскочили. Бойка была. Многих тогда порубали, что азар, что княжих людей. Но полонян отбили. Бабуля повторяла, что добрый князь был, только каждого третьего в холопы примучил, а мог бы и никого не отпустить. Но по мне та доброта мало лучше полона азарского. И то, не столь уж велика разница, где воли лишаться, у нас аль в степях...

Главное, что пока люд с того полону в Барсуки возвратался, дед успел хату поставить, ту самую, которая ныне общинным домом стоит. Бабы зерно худо-бедно собрали, он же каждый день на охоту ходил, носил что оленей, что лосей, а однажды и вовсе тура поднял.

Бабка сетовала, что сам поранился крепко...

Слег.

А она за ним ходила. Тогда-то и поняла, что привязалась к нему всем сердцем, что вовсе не боится нечеловечьего его обличья. И он бабушку мою крепко любил, баловал...

Вот только Божиня лишь одного ребеночка им послала. Дед говорил, что среди берендеев редко бывает, когда больше. И в матери моей души не чаял, избаловал ее вконец.

Матушка моя долго невестилась, женихов перебирала, да не нашла никого по сердцу. Бабка боялась, что по-за гордости своей останется Берендеевна бобылкою, да сама взялася свадьбу сладить, но матушке моей сие не по нраву пришлось. Вот и сбегла она судьбинушку искать... и нашла... году не прошло, как вернулася с мужем. Да не просто мужем – князем цельным. Правда, сам он смеялся, что все княжество евоное – на клочке пергаменту. А из сокровищ в нем – кошель пустой да сабля. Но с дедом они поладили...

Помню их.

И матушку свою... и отца... и деда, как сажал на колени да сказки рассказывал, свои, берендеевы, которые обыкновенным людям глухим ворчанием чудятся.

Столько лет уж минуло, а будто бы слышу его голос, и каждое словечко помню. И теплоту рук огромных... и то, как садил меня, малую, на ладонь, подымал к самому потолку. А я смеялась от счастья, что была выше всех...

– Сгинули? – спросил домовой, смахнувши слезинку кончиком бороды.

– Сгинули... как полетела стрела царская, весь люд супротив азар созывая, так и пошли... дед мой, и отец... и матушка за ним. Она дедову науку воеву крепко знала. А меня вот бабке оставили...

Я замолчала, горько было вспоминать тот вечер.

И вновь чудится, будто бы отцовы усы, пропахшие табаком-самосадам, щеку щекочут...

– Не грусти, княжна моя, – он подкидывает меня и ловит. – Вот поглядишь, вернемся, привезем тебе гостинцев. Чего хочешь?

Мать улыбается, только я, пусть и мала годами, да вижу, что улыбка эта – не от сердца. Бабушка и вовсе плачет, уткнувшись в дедово плечо, а он гладит ее да говорит тихонько.

– Возьми меня с собой... – Я хватаю отца за руку.

– Маленькая еще.

– Не маленькая!

Он же, шагнув к стене, одним движением вогнал меж бревен нож свой, с гербовой печаткой, и сказал:

– От как дорастешь до рукояти, тогда и возьму...

...Четырнадцать мне стало, когда доросла.

– Тогда многие сгнули, – сказала я домовому.

– Так-то оно так...

## **Глава 8, в которой Зослава сводит знакомство с иными студиязусами и понимает, что не все в Академии происходит согласно уставу**

Встала я засветло, по давней привычке, и только глаза открывши, вспомнила, что нет в том нужды. И в одночасье взгрустнулось. Вспомнилась и бабка, и корова Пеструха. Кто ее доит-то? Кто на поле гонит, повязавши на шею ленту с зачарованным бубенчиком? Пеструха – корова важная, не шалит, что иные, но и ступает – барыня барыней, только башкою рогатою с боку в бок поводит, кивает милостиво. И никогда-то подлости не сотворит. Иные-то копытом ведро опрокинуть норовят, аль хвостом хлещут, что оглашенные, аль и вовсе бодучие, злые... нет, Пеструха – не корова, а золото. И молоко у ей жирное... сюда бы хоть кувшинчик, то-то Хозяин порадовался б.

На сердце и вовсе тягостно стало.

Я вздохнула.

Спать? Так сна ни в одном глазу. И бока болят, отлежала с непривычки-то. Кровать неудобная, скрипучая. Матрац соломенный с комками, и каждый я чуяла, и мерещилось еще вовсе небывалое, что будто бы в соломе копошатся, ползают клопы.

Нет, этакого страху Хозяин точно не допустил бы.

Встала, потянулась.

Умылась.

Волосы расчесала гребешком, вновь вспомнилась бабка, которая сама любила косы мои заплетать, да все с наговорами, с прищептываниями, чтоб не падал волос, чтоб толстым был и крепким, блестел.

Я шмыгнула носом, но все ж плакать была непривычная.

Делом бы... а дел-то и нету...

Окромя черной книжицы, которая на столике лежала. Стало быть, сдержал Хозяин данное слово, принес Устав. Занятное чтение оказалось. Писана, конечно, мудро, но на то она и Устав. Я цельное утро над нею просидела, да после выяснилось, что сидела не зря...

В столовую я вышла, принарядившись, а то мало ли, вдруг да случай выпадет жениха встретить, а я и не прибрана?

Женихов в столовой не было.

Да и вовсе люду было немного, но о том горевала я недолго, поелику сама столовая... я так и обмерла.

Красотень!

Это тебе не корчма придорожная с потолком закопченным, где дымно, душно и тесно, на полу солома гнилая да скорлупа ореховая, столы жиром заросли, а пахнет едва ль не хуже, чем из места отхожего. Акадэмическая столовая была просторна и нарядна, с полом каменным, со стенами белеными, расписанными преудивительно. Тут тебе и дерева преогромные ветками переплелись, да и то не скажешь, дуб то аль осина, на березу-то и вовсе не похожие... нет, таких деревьев я не видела.

А уж зверье-то...

Птицы златокрылые по веткам порхают, гады лазоревые да огненные под корнями гнезда свили, и ступает осторожно индрик-зверь. Затаился на толстой ветке Баюн шестилапый, и лезет, крадется по изрезанному морщинами стволу диво-василиск...

– Эй ты, девка, – окликнули меня, вырывая из мечтаний. Я уж вообразила, как ступаю по сему предивному лесу к замку зачарованному, в котором ждет меня царевич. Лежит в труне шкляной, златокудрый, белолицый, распрекрасный, прям как живой. То есть, живой, конечно, только маленько зачарованный. Я уж и к устам сахарным его склонилась, желая проклятие разрушить, а тут меня и выдернули. – Да, ты, подойди. С тобой боярыня Ализавета Алексевна беседовать желают.

Боярыня поднялась.

Была она молода, моих годочков, гонору немалого, да, видать, не из столичных, ежели при Акадэмии столовалась. Но богата, по всему видать, вона как вырядилась.

Рубаха горничная цвета давленной вишни по вороту золотом да жемчугом расшита.

Наручи золотые, узорчатые.

Летник из желтое переливчатое ткани, каковой я отродясь не видывала, а поверх летника и шубка плюшевая с откидным рукавом.

Рукав длинный, узкий, едва ли не до самое земли спускается.

В ушах – серьги с камнями, на пальцах – перстни.

И сама-то хороша, статна, дебела. Лицо круглое белилами покрыто густо, брови насурьмянены, губы – малина... глаз не отвести от красоты этакой.

– Здраве будь, боярыня...

– Ализавета Алексевна, – соизволила сказать она, гляючи на меня с превосходством немалым.

Я ж заробела прямо.

Наша-то боярыня, старая княжна Добронрава, изредка в Барсуки наезжала, когда вовсе невтомно становилось ей в старом доме. Была она грузна и красна лицом, в возке своем сидела важно, этаким истуканом, в меха укутанным.

С возка и кивала старосте.

А детям, когда случалось у нее настроение-с, как выражался хитроватый приказчик, при боярыне поставленный, кидала мелкую деньгу, на сласти, стало быть. Поговаривали, что некогда Барсуки были под княжею рукой, и с той поры Юрсуповы спят да видят, как бы село утраченное возвернуть, но на то закону нету.

Ализавета Алексевна разглядывала меня придиричиво и знай мизинчик прикусывала, никак от великого волнения.

– Ты, девка, сейчас пойдешь в тридцать четвертую комнату и наведешь там порядок, – произнесла она наконец. – И гляди, чтоб к моему возвращению все чисто было! Увижу хоть пылинку – выпороть велю!

Верно, будь я урожденною холопкой, поперед себя кинулась бы поручение сие исполнять. Да только из вольных я, да и сама, ежели подумать, роду не худого...

– Извиняйте, боярыня, – ответствовала так, глядя в серые глаза Ализаветы Алексевны, – да только у меня и иных делов хватает.

– Что?!

Боярыня аж в лице переменялась.

– Ты... девка... понимаешь, с кем разговариваешь?

– С тобою. С вами, то бишь.

– Да я, – она приосанилась, – Ализавета Алексевна Бартош-Кижневская! Единственная дочь боярина Кижневского! Да у моего тятеньки этаких наглых девок плетьюми учат!

– Вот у тятеньки и учить.

– Стоять! – боярыня ножкой притопнула. – Да как ты смеешь со мною столь дерзким тоном разговаривать?! Да если я велю... если я велю...

Она оглянулась.

Верно, дома-то рядом с нею безотлучно и няньки были, и мамки, и холопки, и иная дворня, каковая ныне осталась за воротами Академии.

– Сударыня Ализавета, – я вдруг ощутила, что тут, ныне, в своей силе, и ничего-то не сделает мне боярин Бартош-Кижневский со всем его золотом, – туточки Академия. И по уставу ея все студиозусы равны меж собой, невзирая на то звание, каковое они имели прежде...

Боярыня ротик приоткрыла да так и замерла.

– И прописано там, что, дескать, каждый студиозус за собою сам ходит...

– Ты... да я... да я папеньке отпишусь!

И вновь ножкой топнула, скривилась, в слезы собираясь удариться, да только опомнилась, что некому будет утешать. Никто-то не заголосит, не поднесет ни петушка сахарного, ни пряника печатного, ни орехов, в меду варенных. Не залепечет сказки да былины, от слез отвлекая...

Я от души боярыню пожалела: небось, тяжело ей придется.

– Отпишитесь, – сказала я ласково. – Оно-то верное дело... пушай купит для вас дому... аль снимет... чего вам тут бедовать? Будете жить в городе царевною, а сюда только на учебу и ездить...

Личико боярыни тотчас разгладилось.

– Отпишусь! Пушай папенька купит мне туточки дом! Не дело это, чтоб боярыня Бартош-Кижневская в конуре жила и обедками кормилась, будто холопка какая!

И подбородок этак задрала.

– Только не думай, что я про тебя забуду! Тоже напишу! Пусть папенька и тебя купит и выдерет!

От девка дурная, балованная! Саму бы ее выдрать разок хорошенько, глядишь, и подобрела б к людям.

Боярыня Ализавета Алексевна из столовой удалялась неспешно, видать, чтоб боярскую гордость не уронить. Голову задрала, ручки крючочками согнула, локотки расставила, чтоб рукава шубки свисали... идет, покачивается, и звенят бубенчики, в эти рукава зашитые...

– Молодец, – раздался знакомый голос. – Так дальше и держи. Чуть попустишь, мигом на шею сядут и ноги свесят.

Арей стоял, скрестивши руки на груди, и вслед боярыне глядел недобро. Потемнело красивое лицо, и сделалось иным, хищным будто бы. Разом стало заметно, что и нос у Арея крючком, и подбородок жесткий, точно каменный, и видится в этих чертах чужеродное, азарское...

...а бабка сказывала, будто бы азарское племя не Божиной сотворено было, но от демонов, Огненной речкой рожденных, пошло. Оттого, сколь бы ни минуло времени, да жив тот огонь в крови, жжет человека, мучит душу...

– Доброго дня, Арей... – сказала я тихо и за руку тронула.

Он аж вздрогнул. Повернулся ко мне.

Усмехнулся кривовато.

– И тебе, Зослава, доброго...

– Не будешь ли ты столь ласков помочь мне? А то я вовсе потерялася...

Отпускало его.

И огонь, который я чужла, уходил, прятался.

– Идем... вот смотри, все просто... берешь поднос, идешь к раздаче. Там ставишь, чего и сколько хочешь...

Сам он ставил тарелку за тарелкой.

– Не стесняйся. Тут готовят на всех, да только столуется едва ли не треть. Прочие предпочитают или на дому, или из рестораций обеды заказывать.

– А ты?

– А я не прочие.

Усмехнулся уже широко, клыки показав. От теперь-то я и поверила, что он азарин наполовину, хотя прежде азар вживую не видела.

– Извини... напугал?

– Да нет. У меня и поболее будут... – Я сама оскалилась. И пусть бы дедовой крови не достанет, чтоб полный оборот совершить, да только мне оно и без надобности. Мне и среди людей неплохо живется. От улыбки моей Арей не отшатнулся... а неизвестные со мною парни шарахались, когда я, шуткуючи, клыки показывала...

– Ты...

– Из берендеев, – подсказала. – Дед был...

– Никогда живого берендея не видел.

– А я азарина.

Не обиделся, хмыкнул только:

– Я наполовину азарин.

– А я берендей и вовсе на четвертушку...

– Садись, четвертушка, – велел он, указавши на столик. – И завтракай...

– А ты...

Замялся, но сказал все ж:

– Пойду я... не надобно тебе со мною разговаривать.

– Отчего же?

Я нахмурилась: непривычная в одиночестве трапезничать, этак и кусок в горло не пойдет.

– Или я нехороша?

– Скорее уж я нехорош. – Арей огляделся и все ж присел.

– Из-за того, что азарин... наполовину?

Оно и верно, азар никогда-то не любили, а опосля той войны, когда, как сказывали, полегло их, что колос под серпом острым, да только и наших не меньше, и вовсе возненавидели люто.

Слышала я, как калики перехожие сказывали о той бойке, что длилася три дня, три ночи, да еще полдня. И про то, что от воронья, на мертвяков слетевшегося, небо стало черным-черно, а волчий вой разносился по-над полем, и кто слышал его, тот глож. Про стрелы, которые, в землю воткнутые, прорастали, до того земля эта кровью напоенная была, про копыта, что становились кустами аль деревьями, про то, как девка одна ходила от мертвяка к мертвяку, все кликала суженого, спрашивала у каждого, не видал ли. И капельку крови

на требу клала, пока крови этой вовсе не осталось, но и тогда искать она не прекратила.

Многое говорили про тот день, что сочиняли, что правдой было – я не знала.

Да только ж навряд ли Арей воевал, молод больно.

– Да нет, – он сцепил пальцы, – из-за того, что я раб.

И добавил зачем-то:

– Беглый.



# Глава 9, где речь идет о человеческой благодарности, законах и правилах Академии

В отличие от азар, рабов мне видеть случалось.

Были холопы боярыни, которые, хоть и не рабы, но все люди подневольные, ходят, от земли взгляд не отрывая, над каждым словом трясутся, что бедняк над лишним грошиком, но все ж холопа по нынешнему часу хозяин ни убить, ни покалечить не может, разве что опосля вольную даст и иной выкуп, как то в Правде сказано.

А раб... раб – дело иное.

Бывали оне на ярмарке.

Вот, к примеру, тот челядин-чужеземец с бритою головой, клейменный аккурат меж бровей. И лобастый, страшный, он похож скорей на зверя лютого, понеже человека.

И сидит, точно зверь, на цепи.

А хозяин, всем и каждому, рассказывает, до чего его челядин свиреп, что в бою он за троих стоял, и не с мечом добрым, но с деревом, которое сам из земли выдрал...

...налево деревом махнет – и падает люд княжий оружный.

...направо – и лошади ложатся.

Сказывал да бил себя кулаком во впалую грудь, что не иначе, как чудом, пустил он стрелу, которая и уязвила чудо-воина. А после сети веревочные набросили, спутали...

Раб сидел.

Молчал.

Может, вовсе нем был, а может, устал от тех разговоров, от зазывал, которые приманывали сельских парней силушкой помериться. Всего-то за три грошика! А ежели случится одолеть кому чудо-воина, то целых три золотых рубля дадут!

За три золотых корову купить можно, вот и шли, дурни, несли гроши.

Был и иной раб, старый, если не древний, в белых одеяниях, сидел на коврике, качал головою да брался по ладони читать. Тридесять по тридесять болезней различить умел. А еще столько же – по глазам.

Были мастеровые и просто люди, что служили купцам, спали под телегами, стерегли хозяйское добро... и хозяева верили им.

Или не верили.

И били, бывало, что и до смерти, за любую провинность, а то и вовсе без оной. И горек был рабский хлеб, как бабка говаривала, да воля тяжела.

Выкупиться?

Это ежель родичи есть, которые цену, хозяином названную, осият. А ежели нет, то собирают рабы деньгу по грошику, коль хозяин столь милостив, не отбирает. Иные, говорят, и сами собирают, и дети их, а после и внукам кошели оставляют в надежде, что хоть им-то воля случится. Бывает, что и сам хозяин вольные дает, за геройство какое аль за службу верную, а бывает, что невоготу рабу милости этакой ждать, вот и бежит он в белый свет.

Случалось, и убегает.

Да только за беглыми охотятся, магов нанимают, потому как на каждом клейме – печать особая, и эту печать ни ножом срезать, ни огнем свести. Одного взгляда человеку сведущему

хватит, чтоб распознать беглого раба, а где распознают, там и возьмут.

В колодки закуют.

И отошлют хозяину с поклоном, тот сам уж наказание выберет. А коль случается, что, побег учиня, раб на хозяина руку поднял, тут-то супротив него и суд царский, и правда.

И казнь.

Снимут шкуру с живого, кишки выпустят, а после, не дав умереть, и сунут в котел с кипящим маслом...

– Могу уйти, – тихо сказал Арей и взгляд отвел.

Вот оно как... может, ему бы и простили то, что он наполовину азарин, но вот того, что раб беглый... его, небось, и за человека тут не считают.

Брезгуют.

И ненавидят, потому как нету в Акадэмии рабов... равны все...

– Если сам того желаешь. – Я разломила хлеб пополам. – Дед мой сказывал, что Божиня всем своим детям волю дала, а остальное уже люди придумали...

– Божиня на небе. А люди рядом.

Он не встал.

И половинку хлеба принял.

– Спасибо, Зослава...

Он сам заговорил, я не стала бы вопросами пытаться, не полезла б в больную душу. Да только и Арей, видать, устал от молчания.

– Матушка моя, Ирчадай из рода Белой Искры, была дочерью Энунг-авара, любимой, балованной. Ни в чем не знала она отказа и оттого верила, будто бы мир добр и все люди в нем добры.

Его щека дернулась.

А глаза вновь потемнели, что небо грозное.

– Когда встретила она моего отца, то полюбила его с первого взгляда. Он был полоняником... Энунг-авар ранил его в стычке, но не убил. В дом свой привез. Доктора личного приставил, шаманов. Он велел отцу письмо писать о выкупе. Так многие делали, и пусть бы много золота стоила бы свобода, но видит Божиня, получил бы он ее.

Тих был его голос, и мне приходилось наклоняться, чтобы не упустить ни словечка. А сказ Арея был куда интересней, нежели все истории, доселе слышанные.

– Матушка же моя была птичкой редкой... так он сам говаривал... и смеялся, что птичку доверчивость сгубила. Сказал он ей, что никогда-то Энунг-авар не выпустит пленника, и уж тем паче не отдаст за него свою дочь. Бежать подговорил. Многое она могла, Ирчадай-легконогая, Ирчадай-смелая. И сама-то из дому вывела, и лошадей приготовила быстрых, таких, которые от ветра рождены да степью вскормлены. Взяла с собой золота, чтоб погоню со следа сбить. Думала, будет ей счастье на той стороне... он ведь обещал жениться.

Я покачала головой: нехорошо поступил отец Арея.

Не по-людски.

И не по-божески.

Говорят, что Божиня женские слезы, те, что от сердечных обид идут, в ладони свои собирает. А как наполнятся до краев, так и выплеснет их на мир. И потонет он, омоется да очистится...

– Только вот был женат уже... но и то ладно. Матушку мою рабыней сделал. И Энунг-авару написал письмо длинное, в котором сказал, как оно было. С того письма и умерла моя

матушка для родичей. Азары девичью честь строго блюдут. На Энунг-авара она не злилась.

– А на твоего отца?

Ох, не след было спрашивать. Вовсе черны стали глаза, а на виске проступила темная кровяная жила. И бьется, рвется она, что струна.

– Она любила его. До последнего дня любила... верила, что не мог он иначе. Нет, он ее не бил... он поселил ее в тереме, в своих палатах, и наряжал, что барыню. Каменьями одаривал, шелками, да только ты же знаешь, что все имущество раба принадлежит хозяину. И дети, если рождаются, то сразу рабами. Он говорил, что даст мне вольную, позже, когда подрасту... что сын его меня на два года моложе всего. И если освободить сейчас, то боярыня его не поймет... и родичи ее тоже не поймут. Хватит, что матушка моя для них была, что бельмо на глазу. Не знаю, может, и дал бы волю, но...

– Случилось что?

Я подала стакан с ягодным взваром, который Арей принял, выпил, даже не глянув, что пьет. Видать, крепко нагорели на душе старые обиды.

– Случилось... помер он четыре года как... на охоте убился до смерти... ты его не видела. Он медведя заломить мог бы... извини.

– Ничего.

– Привезли его... хоронить. – Теперь каждое слово давалось ему с трудом. Арей вцепился в край стола, голову наклонил, сделавшись похожим на шального пса. – А боярыня и говорит, что надобно по старому обычаю собрать свиту. Не дело такому славному боярину в Божинины чертоги одному заявляться. И раз уж матушка моя жила при нем, что жена мужняя, то ей за Огненную реку и ехать... если Божиня пустит азарку в свои чертоги. Все потом говорили, что, мол, крепко она мужа любила, если такой красивой рабыни не пожалела. Я пытался их остановить.

Он стиснул кулаки добела.

– Да только по голове дали и в погреб, а как выпустили, все уже закончено было... только, думаю, что она бы и сама за ним пошла... ведь пошла же сюда, а Божинины чертоги немногим дальше. Я вот остался. Наверное, боярыня б и меня отправила, но побоялась, что люди осудят. Да и... без того нашла бы, как извести. Отец-то не раз и не два говорил, что отправит меня на мага учиться, что раз дар имеется, то и использовать его надобно. А после смерти вдруг все забыли словно... и то, кому охота с боярыней из-за рабынича ссориться? И кабы не боялась она сплетен, давно бы я в могиле лежал бы.

Я лишь головой покачала: и вновь неладно поступила боярыня. Каждый знает, что воля мертвых исполнена быть должна, потому как иначе не будет счастья ни тому, кто его нарушить посмел, ни семье его.

– На конюшни меня сослала... я-то лошадей люблю и ладить с ними умею. Но... вскоре одна слегла... и другая... и тут уж боярыня заговорила, будто бы я их отравил. Пороть велела... раз, другой... на третий-то я понял, что мне не жить. Сегодня лошади слегли, а завтра и человека уморит. Скажут, что я виноват... тогда-то ей перед людьми не стыдно будет, напротив, жалеть станут. Мол, пригрела на груди змею азарскую. Я и не стал ждать. Сбежал...

– Сюда?

Арей руки разжал, поглядел на них с удивлением.

– Слышал, что магам никто не указ, что своею правдой живут, а не Царской... и что только сила да талант нужны. Сила у меня была. Талант... тут я не скажу, одно, что учиться

был готов и день и ночь, лишь бы вырваться.

– И тебя приняли...

– Не все так просто, Зослава, – вновь кривоватая недобрая усмешка. – Меня пропустили ворота, как пропустили бы любого одаренного. Мне повезло не только прийти сюда, но и встретить человека, который не погнал. В Академию-то берут тех, кто старше семнадцати. А мне только-только пятнадцать минуло. Еще два года... я бы их не прожил попросту. До поступления же я, как есть, рабынич... и вернуть они меня обязаны были. Так мне сказали и за барыней гонца послали, а меня спугали заклятьем, чтоб беды не натворил. Хорошо, на шум Михаил Егорович выглянул. Он-то меня и пожалел. Взял к себе в личные ученики... ох, что было, когда это услышали... как его только не обихаживали, чтоб меня вернул. Тут еще и боярыня явилась, принялась кричать, что я, ирод такой, сыночка ее извести хотел, и что место мне – на площади, где с меня шкуру драть станут. Да только Михаил Егорович не тот человек, который угрозы побоится. Не отдал. С тех пор так и живу...

Он ловко провернул в пальцах ложку.

– Первый год вовсе старался местным на глаза лишний раз не показываться. Он меня, пока суть да дело, в библиотеку пристроил. Сказал, что заодно теорию подучу... в библиотеке-то тихо, книги, чай, не люди. Им все равно, кто их в руки берет, лишь бы руки эти бережные были.

Я кивнула, думая о своем.

Вот оно как выходит по жизни... несправедливо. А деда, помнится, сказывал, будто бы на заре времен, тогда, когда мир, Божиной сотворенный, лишь очнулся от сна, не было несправедливости вовсе.

И в мире жили, что звери, что люди.

Охотники на охоту выходили за-ради мяса и шкур теплых, а требуху да кровь спускали лесу, чтоб сила и душа звериная к истокам возвернулась, а там и возродилась с новой памятью... и дед повторял, что так оно и надобно, что звери-то помнят заветы Божини. Люди же...

Он мрачнел, когда речь заходила о барских забавах, навроде лисьей охоты, или вот медвежьей травли, или иного какого баловства...

...и того, что одни люди над другими поставлены. Все мол, дети Божини...

Что бы он Арею сказал?

– Клеймо с меня так и не сняли. – Арей дернул высокий воротник кафтана, будто бы находилось под ним нечто раздражающее.

– Если доучусь, тогда... маг не может быть рабом.

– Доучишься, – спокойно сказала я.

– Стараюсь... последний год остался. Пока Михаил Егорович ректором, то меня не тронут. А ректором он будет и дальше, потому как царю нынешнему дядька родной... и как бы ни пытели бояре, которым нынешние порядки крепко не по сердцу, но подвинуть его не смогут.

Это прозвучало зло.

– А если...

Я ведь помнила Михайло Егоровича и уже не сомневалась, что судьба хитромудрая свела меня с единственно правильным человеком. Небось, не будь той встречи, сидела б я среди целительниц, половина из которых барского знатного роду. Но вот в годах Михайло Егорович, и немалых, и спина опять же. Нет, от больной спины не помирают. Небось, старый мельник

который год к бабке за мазью ходит, да все стонет, что одной ногою в могилу сошедши, да только вторая на земле грешное крепенько стоит.

И если помрет, не от спины...

...но ведь Арей сам сказывал, будто бы батюшка его тоже здоровьем был крепок. И где он ныне?

– Тогда, – глаза Арея вовсе черными сделались, – мне лучше самому в петлю, потому как...

– Отдадут?

– Или отдадут, чтоб с Сухомлинскими не ссориться. Или... маги – товар редкий, Зослава. А уж хорошие защитники... сама увидишь, будет вас с дюжину, а то и меньше. Вот и предложат мне сделку, от которой отказаться не выйдет. И буду я снова до конца дней своих сидеть за чужим забором. Нет, пороть навряд ли станут, но и за человека держать не будут...

Горько.

И жаль его, бедолажного, не по своей вине в этакую гишторию угодившего, но я жалость при себе держу: немало в Арее нерабской гордости.

Не примет.

Оскорбится еще...

– Но я привык на лучшее надеяться, – не особо искренне произнес он. – И раз уж мы обо мне поговорили, может, и о себе расскажешь? Чего внучку берендееву потянуло-то к людям?

Я фыркнула: экий скорый.

Однако же нехорошо за откровенность молчанием платить.

– Жениха себе найти хочу...

Арей аж хлебной крошкой подавился.

# Глава 10, в которой речь идет о женихах и неожиданных трудностях

– Жениха?.. – переспросил он престранным голосом.

– А то... – Я вздохнула и принялась пересказывать. Про себя и про Барсуки, про бабку с ее гаданием, которому у меня веры не было нисколько, потому как для гадания брала бабка листы польвованные. А всяк знает, что надобно только на чистые.

И на скатерочку свежевывстиранную их класть.

Да не поутру, когда солнце в силу свою входит, но к полуночи ближе, и то не листы малеванные, чужеземную забаву, отцом привезенную, но миску и воду родниковую, чистую.

Колечко золотое.

И волос свой.

Свечи восковые... заговоры... нет, так-то я тоже гадала, как водится, на Зимней неделе, когда дни короткие, что хвосты мышинные, а ночи долгие, темные. Когда волки свадьбы играют, и звезды спускаются к самой земле, порой ветер сбивает их в спутанные космы древних елей.

И серебрится, переливается снег дивными сокровищами.

Тогда-то и бани топят, и девки идут мыться, да не просто так, но со свежими караваями, каковые складывают у дальней стены, с куколками самошитыми, обряженными, точно барыни, с бусами из сушеной рябины да тыквяных семечек...

И моются.

И песни поют. И банник, нечисть заполошная, выползает из норы девок послушать, перебирает корявыми пальцами хлеба, отщипывая от каждого. И где поверху возьмет, значит, вскорости ждать надобно сватов богатого дому, а где у доньшка, то и не судьба девке хорошее замужество справить. Иль вовсе никто не посватается, иль посватаются, да жизни не будет...

Напевшись, намывшись, волосы чешут одна одной, и волоски-то подбирают, кидают в печь, глядят на пламя, а там выходят и рябину сеять на птичье гадание...

Много их есть.

Да только ни в одном я судьбу свою не видала, даже в том, которое с родниковой водой и с колечком. Шли волны, успокаивались. И волоса моего хватало, чтобы миску обвить, но вот... иные видели... и охали, ахали, закрывали рот руками, чтоб неосторожным словом счастье свое не порушить.

– Вот оно как. – Арей слушал внимательно, одной рукой щеку подпер, другою скатерочку гладит. А скатерочка-то простенькая, без шитья, без узоров.

Но оно-то кому здесь узоры шить?

– А я уж думал, что ты как эти... за царевичем.

– За каким царевичем? – удивилась я и огляделась.

Царевичей поблизости не было.

Жаль, я б поглядела, каков он из себя, царевич. Потом бы отписалась. Небось, все б девки от зависти изошли... или не поверили б?

Я подумала и решила, что вот точно не поверила б, скажи кто, что царевича сблизу видел.

– Обыкновенного. Наследного.

– А он тут? – Я переспросила шепотом и на всякий случай вновь огляделась. А то мало ли... но нет... стоят столы рядом. И лавки, мелькают меж ними смазанные тени – домовые с домовятами суеются, порядки наводят. И надо бы уйти, не мешать Хозяевам, да больно уж под дивным деревом намалеванным сидится славно.

– Будет тут. Похоже, ты одна не слышала... видишь ли, Зослава, наследник престола традиционно получает помимо обыкновенного образования и академическое. Делается это для того, чтобы будущий царь умел не только с боярами сладить, но и в магических делах разбирался. А то ведь маги ничем не лучше прочих людей, за ними тоже пригляд нужен.

Тут я согласилась. Маги аль нет, но царь Божиной над прочими людьми поставлен. Так жрецы говорят, и еще что каждому человеку надобно свое место в мире знать и иного не желать, потому как от этого желания и происходит всяческое беспокойство.

Царю – цареву.

Холопу – холопье... а о рабах и вовсе речи нету. Главное, чтоб каждый жил, как оно по Правде положено, тогда и вознаградит их Божиня за земные страдания великой благодатью.

Про благодать не ведаю, конечно, но вот порою мнилось мне в тех словах нечто неправильное. Оно вроде и гладко выходит, да только... вон, Сидорскую старшую дочку отдали замуж в Ковалевцы соседние. Шла, соседи завидовали, что, мол, за богатого, будет жить да радоваться. С этакой радости уже два раза к тятке своему сбегала, в ноги падала, молила, чтоб не возвертали мужу. Только батька уж над нею не властный.

В супруговой воле.

Вот и получается, что терпеть ей выходит, на Божинину благодать уповая... не по мне этакая покорность.

– У Зимовита и вовсе магический дар имеется. А потому надо учиться. Вот и сама понимаешь, что его сюда поступление – такая тайна, о которой и последняя дворцовая крыса знала. И добавь, что царевич – молодой, не женатый... была за него створена боярыня Ольшана Раждовенска, да только прошлой зимой померла она от сухотки. Новую ж невесту подыскать не успели...

Он замолчал, но молчал недолго.

– Вот и поспешили все, у кого дочери на выданье имеются, сюда их пристроить, глядишь, и очарует какая молодого царевича... так что, Зослава, тяжело тебе с женихами придется.

– Это ежели б мне царевич надобен был, – возразила я. – А на кой ляд мне царевич? Что я с ним в Барсуках делать-то буду?

Арей усмехнулся.

А глаза-то посветлели, сделались светло-серыми, точно заячья шкурка... и лицо обыкновенное, мягкое такое лицо.

Человеческое.

– Экая ты... нечестолюбивая...

– Чего?

– Того, Зослава. Сама подумай, что тебе ерша ловить, когда можно сома вытащить?

– Не всякого сома вытащить силенок хватит. Я девка негордая и в своем розуме. Небось, с мужем-царевичем и свекровь царицею будет...

Арей засмеялся.

Громко.

И так хорошо, что я сама разулыбалась, хотя ж и не поняла, что такого смешного сказала-то? Две бабы да в одном доме, да при одном мужике. Небось, конечно, царица не станет невестушке своей косы драть, скалкою охаживать аль в чеботы сухую крошку сыпать, да только у нея и иные способы негодную невестку извести сыщутся.

Нет, выходить замуж за царевича я не собиралась.

– Царевич, – медленно повторила я, – пуцай боярыням достается, мне бы кого попроще... вот взять, к примеру, тебя...

Арей вновь захохотал, во все горло, да так, что голос его отразился от каменных сводов.

– Экая ты... Зослава...

– А что? Чем плохо? Парень ты крепкий. И с норовом. И разумный. Рукастый, думаю, самый по мне муж...

– Не забудь добавить, что в ошейнике, – он перестал смеяться и глаза отер. – Или сама примерить захотела? С моей мачехи станется. Не забывай, Зослава, что с законом не шутят. Пока я раб, то и любая, которая за меня пойти вздумает, рабою сделается.

– Пока. – Я поднялась. Конечно, у меня не выйдет, как у той боярыни, ступать медленно да поважно, и шубки нету с бубенцами на рукавах, и летника длинного, чтоб подолом пол мел, да мне и так ладно. – Ну так и я замуж не сегодня выйти собираюсь.

Арей тоже встал.

– Спасибо тебе, Зослава.

– За что?

– За разговор, – ответил он серьезно. – На душе легче стало. А на смех мой не обижайся. Не думал я о женитьбе... да и не могу... права не имею. Даже когда Академию закончу, то кем я буду?

– Магом.

– Магом... без дому, без семьи, без гроша за душой. И каждый в этом городе, а то и во всей стране знать будет, что я – бывший раб. Думаешь, много мне работы будет? Нет, Зослава... я уже решил, что уеду.

– Куда?

– Не знаю. Куда дорога ляжет... может, к азарам... хотя и там я чужим буду. Может, к лигойцам или еще куда. Мир велик. Где-нибудь да найдется для меня местечко. Уж не серчай, что твои планы порушил.

Я фыркнула.

– Не было у меня никаких планов. Это так... сказала... не подумавши... Мужа выбирать – не чеботы купить. Ошибеешься, по ноге не перешьешь, так и будешь всю жизнь маяться. Пять лет у меня есть. Буду учиться. Глядеть. Приглядываться... а там как-нибудь оно и сладится.

Сказала и сама себе поверила.

Ажно восхитилась, до чего премудро вышло.

– А я тебе помогу, если вдруг совет станет нужен. Или информация. Я тут многих знаю. И вижу порой... чересчур уж много вижу, но в твоём деле лучше больше, чем меньше. Так что, Зослава, примешь помощь? – Арей протянул руку.

И я приняла.

Помощь лишней не бывает.

– Вот увидишь, найдем мы тебе жениха такого, что все боярыни местные



обзавидуются...

Сказал и вновь рассмеялся... весело ему, значит. А и ладно, смех не слезы, с души не обеднеет.

# Глава 11,

## где пишутся письма и съезжаются женихи

*Дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна, – я от усердия аж язык высунула. Оно, конечно, случилось мне и прежде писать письма, но то – под диктовку, что старосты, что кузнеца, а что еще кого из сельчан. Народ-то в Барсуках грамотный, однако же попробуй-ка, удержи в кривых пальцах, больше привычных к молоту аль косе, тонкое гусиное перышко. Вот и шли ко мне, мол, у меня буковки одна к другой, аккуратненькие, ровненькие, любо-дорого поглядеть. А я что, только рада была...*

Я вздохнула и прикусила деревянную палочку... нет, железное перо всяк сподручней гусиного, и сделано хитро, не всяк кузнец тонкую работу сдюжит.

*Пишет тебя внучка твоя единственная, Зослава, с превеликим почтением.*

*Поведать желаю об том, что добралася я милостью Божьиной до самое столицы, и до Академии тож.*

Я вздохнула.

За письмо я села, зная, что бабка оногo письма ждать будет со всем нетерпением, а еще волноваться начнет. В ее-то годы волнения, чай, вредны. И потому писать следовало не только красиво, но и успокоительно.

*Приняли меня туточки с превеликою радостью, однако поведали, что на целительском факультете, – незнакомое слово я выводила с особым старанием, с того удовольствие немалое получая. Небось, в Барсуках про факультеты этия тож не слыхивали, – мест нетушки. В нонешнем году целительниц больно много, и все-то боярских знатных кривей. А все потому, что сам царевич пожелал образованию получить и с нонешнего года почтит Академию своим присутствием.*

Это я услышала из разговору двух боярынь, каковые, пусть и сплетничали, будто бы подружки давние, а все одно глядели друг на дружку ревниво, примеряясь да гадая, нужна ли такая подруженька, у которой и коса гуще, и бровь сурьмяней.

*Упреждая вопросу дядьки Сеня, скажу так, что царевича я не видала. Кажуть, что никто-то его не видал, поелику матушка евоная стереглася больно, чтоб не сглазили, не прокляли ненароком. Вот и рос он где-то, а где – то неведомо. И явится не просто так, но с дружками своими верными, которых будет ажно пятеро. А может, и того большь. Все девки только о том и говорят, рядятся, каждой в царицы попасть охота. Но не подумай, дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна, что и внучка твоя в царицы метит. Мне то без надобности, не вовсе глупа я, пребываю в разумениях, что царицыно место не медами мазано.*

Я перечитала. Гладенько выходило, красиво, прям как Арей учил.

Вспомнила и задумалась.

Писать ли про него?

С одной стороны, охота, потому как не было у меня от бабки ни тайн, ни секретов даже. И страсть до чего об новом знакомце поведать тянет. С другой... не любит бабка азар, страсть до чего не любит. Оно и ясно, что дед мой от них сгинул, что матушка, что отец... и выходит, мне самой любить их не за что, да только нет у меня к Арею ненависти, благодарность только.

И не он на том поле стоял.

Не он убивал.

Нет на нем вины, но вот только... поймут ли?

*Мыслю я так, что третьего дня, как начнется учеба, то и пригляжуся к людям, которые при Академии обретаются. Многие-то в городе квартируются, а на учебу возками ездют, но сие как по мне дюже неудобственно, хоть и гонор в том немалый.*

*Иное дело – студиозусы, что при Академии постоянно пребывать изволят. Они и не из столицы родом, а значит, звания не сильно высокого, и достатку невеликого, но с талантом, иначе б не взяли их на учение. Талант же, как мне объяснили, дело тонкое, и мажиков, которые воистину на многое способны, царь при себе держит, золотом осыпает. Да только одного таланту мало, надобна еще старательность и розум немалый. Оно и верно, куда глупцу великая сила? Сколько бед натворить способный...*

Я прервалась.

Все ж писать следовало не о бедах, которые, быть может, случатся, а может, и нет, но о вещах обыкновенных, приземленных.

*Вот и буду я искать такого мужа, чтоб и с талантом был, и с разумением. Звание же его боярское, коль будет оно, то и без надобности.*

Тут я несколько слукавила. Небось, хотелось примерить боярскую шапку, высокую, из красной парчи да с жемчугами. И сапожки к ней сафьяновые, на отворотах.

Перстеньки надеть бурштыновые.

И бусы в несколько рядов.

Ох, красива я бы была... боярыня Зослава...

*С тем и кланяюсь я, дорогая моя Ефросинья Аникеевна. А еще тоскую премного по тебе, и по селу нашему. Кажную ночь во сне только и вижу. Глаза закрою, и тюточки они, березки две, которые мы с тобою у колодца сажали. И сад наш вижу. Скажи, управилась ли ты с яблоками? В сё лета они особо уродить должны были.*

Я вздохнула.

Яблоки родили через год, и в нынешнем аккурат пора пришла. Яблони еще дед сажал, своим особым словом заговаривая, оттого и выросли могутными, раскинули ветви. И яблоки зрели одно к одному, крупные, красные, с искрою.

На них всегда охотников имелось.

И на ярмарку когда возили, то прям очередями люди стояли. Справится ли бабка одна с урожаем? Иль сподмогут? Небось, люд у нас в Барсуках отзывчивый, простой... а пасека

как? Ее-то в последние годы я обирала.

И еще огород... бабке тяжело с ним...

Вновь тоска скрутила, и такая, что хоть бросай все да сама беги с письмецом этим. А то и вовсе возвращайся домой. Небось, там немногим хуже, чем в столице.

Всхлипнула я, мазнула по глазам, стирая слезы.

Нет уж, коль вернусь, то бабка самолично меня за косы оттаскает за глупство девичье. И права будет. Вот найду себе жениха, и тогда...

*А еще скажи, будь ласкова, дядьке Витольду, что на Поприщах мы были, и нету там коров по три рубля, разве что вовсе заморенная. А есть по семь и по десять. И еще дороже, но редкое заморское породы. Красивые. Рудой масти, с мордами белеными, с боками крутыми, а вымя у них до самое земли свисает. И небось с той коровы молоко само льется, доить не надобно. Да только и ядуть они один клевер и еще муку.*

*Видала тако ж пряжу, как у Матюковой, только похужей, неровную, но крашену в красный и синий колеры. То по семь копеек за пук. Пяльцы же всякие есть, что махонькие, что огромные, каковы на специателъну механизму крепять.*

*Дядьке же Саврасу передай, что тарелков всяких в столицах имеется, а не токмо глиняные. Но ежели и глиняные, то такой красоты, что с этой тарелки одно по красным дням снестать да перед людьми особыми на стол ставить. Небось, у боярыни нашей такие от, размалеванные синими петухами. Есть и с ружами, и с серебрением, а иные и вовсе – золотыми узорами расписаны, что глаз не отвесть. А на рынку видала ж из шкла посуд и из парпору. Это такая материала, навроде глины, только беленькая и посуд из нее тонюсенький-тонюсенький, вся чашка напросвет видна. И сама-то крохотулечка, будто для младенчика сделанная. А пьют из оных чашков кофий – сие напиток азарский, ныне дюже моднющий. Он черен, что деготь, но пожижее. Горький – сил нету, оттого и заедают его всякоразными сладями, тож азарскими.*

В дверь постучали, и я с преогромною радостью отложила перо. Все ж таки тяжелое это дело – писать родному человеку, да заодно всему селу. Вспомнилось, что так и не глянула для старости кур, чтоб не рябые, а белые, без малейшего черного перышка. И для деда Архипа – табак надобен, ему писать придется много, конкретне, хотя в табаках я вовсе не разбиралась. Манюшка, подруженька моя малолетняя, про нитки спрашивала, чтоб лазоревого чистого колеру. Она у нас вышивальщица знатная, за нею многие бабы приглядывают, ждут, когда в невестин возраст войдет...

– Зослава? – Арей никогда-то не входил сам, пусть бы и было на то ему мое дозволение. Он стучал и ждал, пока открою.

Вежливый.

С того нашего разговору минуло две седмицы, однако же Арей от своих слов не отступился.

– Тюточки я! – Я скоренько огладила волосы, каковы имели обыкновение растрепываться при работе, хотя ж бы и была сия работа исключительно умственного свойства.

– Зослава! – с упреком произнес Арей.

И поклонился этак хитро, не то поклоном, не то кивком. Но хорошо у него выходило. А мне, стало быть, отвечать ему, приседая, будто бы сама я боярского роду.

Приседать выходило плохо.

Зад оттопыривался, а колени норовили в боки разъехаться. И пыхла я от натуги, краснела, а надобно, чтобы сия экзерсиса исполнялась легко, без принуждения.

– Нельзя говорить «туточки». – Арей подал руку, помогая подняться с этой присядки.

– А как можно? – удивилась я. – Здесь?

– И «здесь» нельзя. Надо говорить – «я дома». А лучше ничего не говорить – Он нахмурился.

И вздохнул.

И я тоже вздохнула, потому как тяжкое это дело – боярская наука.

– Что ж, сударыня Зослава. – Арей покосился на мои руки, и я глянула, охнула – успела-таки чернилами изгваздюкаться – да спрятала за спину. – Не желаете ли совершить променаду?

– Чего?

– Прогуляться... на женихов потенциальных посмотреть.

На женихов смотреть я всегда готова! Только руки оботру...

*...а еще, дорогая моя бабушка, учуся я всяким полезным наукам. Как ходить красиво, павою, будто бы барыня наша. Как говорить, чтоб правильно. Как улыбаться. И прочим этикетам, поелику сказано мне было, что ноне невеста не токмо собою хороша быть должна, но и кругом благолепна, иначе будет ея супругу опосля большое неуважение.*

Это я уже мысленно добавила к письмецу, решив, что, как вернуся, то и напишу, и про этикеты, и про женихов... и про Арея, быть может.

Он же вел меня не к воротам, а к башне часовой. Сказал только:

– Оттуда видней будет.

Может, и правда, потому как спешили к воротам Акадэмии, верно, все девки, какие только были. И главное, принарядились невмочно: кто по пять платьев надел, кто по семь. И все-то врзлет, с шитьем да узорами, одно другого краше. Кто шапочку бисерну на ходу поправляет, кто монистою звенит, перстнями слепит... лица набеленные, щеки нарумяненные.

От красоты такой в глазах рябит.

А я-то, я, дуреха, в обычном платье вышла...

От мысли этакой, обидное, я остановилась. Не пойду. Вернуся. Письмецо вот допишу, а с женихами... завтра, как занятия начнут, так и познакомлюся.

– Зослава? – Арей нахмурился.

– Да я... как-то вот...

Мимо проплыла боярыня Велимира, дочь посадного князя Раждовенского, девица статная, собою хорошая, а ныне и наряженная так, что от блеска камней на парадном ея платье глаза слепило. Меня она одарила презрительным взглядом, под которым я миготом ощутила свою бедность, и скудность, и вовсе ничтожность. Тоже, решила мужичка в люди вылезти... небось, такой, как я, не по садам Акадэмии разгуливать надобно, а сидеть смиренхонько на лавке, а то и под лавкой, радуясь, что вовсе допустили ее к этакому-то месту.

– Не думай о дурном, Зослава, – сказал Арей. – Никто тебя не увидит. А ты поглядишь... приглядишься, кто тебе по нраву. С Часовой башни оно сподручно.

# Глава 12

## О Часовой башне и иных строениях академических

Его правда.

Башня сия стояла аккурат перед воротами, была невысокою, пузатою, с плоскою крышей и огромными бронзовыми часами, везли которые с самое Аустрии да на сотне подвод, а после уж мастеровые и собирали их туточки.

Я-то еще в первый день ходила к башне, полюбоваться на этакое-то диво, а вот написать про него не сподобилася, потому как, пиши иль нет, а не поверят в Барсуках.

Цифирьблат их в поперечнике сажени этак на три будет, а то и на четыре. Сам из бронзы царское, а цифири, каждая с аршин, золоченые.

Стрелки кружевные ползут.

А как доползают до полудня, так и отзываются на то часы боем колокольным, разноголосым.

Благолепие!

Арей же к этому благолепию был равнодушен, верно, попривык уже. Он обошел башню стороною и отворил дверцу, которая взялась, а откудова взялась – непонятно.

– Чары тут, – пояснил он, – чтоб не лазили, кому ни попадя.

Во внутренних башни было темно да пыльно, и огненный шар на ладони Арея темноту кое-как разгонял, правда, при том шкворчал, как кабаный бок на сковородке.

И паленым пахло.

– Давненько тут не был, – Арей смахнул узорчатую паутину. – Заросло все... ты мышей не боишься?

– Не боюсь... и крысюков не боюсь.

– А кого боишься?

Я подумала и... призналась:

– Лягух. Склизкие они...

– Лягух тут точно нет...

И то ладно, не то чтоб я сильно уж боялась, верещать бы, как наши девки, мыша завидев, верещат, я б точно не стала, но вот... есть в лягухах нечто мерзотное, от чего меня всю аж перетрясывает.

Мы поднимались.

Узкая лестница приклеилась к стене и гляделась ненадежною, но Арей ступал смело, а мне не хотелось признаваться еще и в том, что я отродясь на этакую верхотурину не поднималася. В Барсуках-то, небось, выше старостиного дому, построенного дивно, в два поверху, зданиев нетушки.

Арей все идет, а мне и остается только, что следом.

Ступени скрипят.

Лестница проседает. Того и гляди сверзнемся, небось, не птахи Божинины, крыльцев немаймо, чтоб взлететь... больно будет.

Я покосилась вниз.

Темень глухая, и в ней что-то ворочается, вздыхает, ухает... меня такая жуть пробрала, куда там лягухам! Дай Божиня милости хоть шажок сделать, а то ж Арей вона уже далече,

и шар его шкворчащий искоркою малой виднеется. Этак я и остануся одна, впотьмах, дура дурую... думаю так про себя, а все одно сил нет никаких, чтоб ноженьку поднять.

Коленки трясутся.

Коса и вовсе ходуном ходит. Но ничего, губу закусила, велев себе думать не про лестницу энту, а про женихов. Небось, пока я тут на страдания исхожу, всех поразбирают. Верно, мысля была правильной, потому как попустило. Только сердце в грудях ухало тяжело, куда там часам академическим.

За Ареем едва ль не бегом кинулась.

Догнала.

Еле удержалась, чтоб за рукав не схватить... чинно пошла, не павою, конечно, но утицей так точно.

Он оглянулся.

– Уже почти пришли.

Рукой перед собою провел, и еще одна дверца возникла.

– Я тут часто бывал прежде... за часами приглядывал. И просто так. Тихое место. Спокойное...

Он сказал бы что-то еще, но осекся, спохватился, что и без того чересчур уж много поведал. А я не стала вопросами мучить.

Захочет – сам откроется.

– Прошу вас, сударыня Зослава. – Арей вновь поклонился и, ручку крендельком скрутив, подал. Я и уцепилась.

В дверцу энту, из которой сквозило прилично, входила бочком, с опаскою, и не зря: вывела, коварная, на балкону.

Ох ты ж, Божиня милосердная!

Я балконы этакие только со стороны и видала, туточки, в столице. Красивые... если снизу глядеть. Этакие беленькие, чистенькие, аккуратные, что ласточкины гнезда. На иных еще и цветки росли, для пущей глазам отрады, но вот что люди на балконах стоят – так это...

– Не бойся. – Арей положил мою ладонь на оградку, которая показалась мне еще более ненадежною, чем давешняя лестница. – Он крепкий. И не так уж тут высоко...

Для него, привычного, может, и не высоко, а как по мне... дух заняло. Сердце обмерло, ухнуло в самые пятки, а пятки от того ледяными сделались. И тело в жар бросило, как в баньке, а опосля в холод.

– Зослава... если хочешь, можем уйти. Извини, я не знал, что...

Я покачала головою. Нет уж, не для того я подвиг совершала, в выси нечеловеческие поднимаясь, чтоб тепериче попросту взять и уйти.

– Где? – просипела, губы облизав.

– Что «где»? – не понял Арей.

– Женихи где? Сам говорил, глядеть будьма...

– А... – Он рассмеялся. А хорошо смеется, бабка моя говорит, что душа человеческая, она не только в глазах обретается, она и в слезах себя кажет, и в веселье. Оттого и веселятся люди по-разному, и горюют каждый на свой лад. – Будем, Зося... всенепременно будем глядеть на твоих женихов. Но еще, видать, не подъехали.

– Ты откуда знаешь?

– Откуда, – поправил меня Арей. – А знаю, потому как ворот не открывали. Сама услышишь... пока попробуй оглядеться.

Попробую, чего уж тут. Раз вперлась на башню, то надобно притерпеться, авось и выйдет.

Глядела поначалу с немалой опаской, боясь и голову повернуть, не то чтоб самой. Да только балкончик не спешил рушиться, а вокруг же... красота...

Прямо под балконом – дорога мощеная широким полотнищем легла, от самых от ворот да и до центрального здания Акадэмии. Оно-то, беломраморное, о многих поверхах, было мне знакомо. Однако же и ныне из башни гляделось иначе.

И мужик с коньми, который не просто так стоял, а аллюзией власти человеческой над души страстями, махоньким гляделся, несерьезным. Про аллюзию мне Арей поведал. Он-то премудрых словесей множество знал. Оно сразу видно, что при книгах человек обретался, вот и налипла к нему премудрость всякая.

– Строили его по проекту одного венецианца...

– Кого?

– Мастера, чужеземца... говорят, его в те времена в полон взяли, рабом сделали. Да только хозяин, когда понял, кто к нему попал, отпустил на волю и еще денег дал, чтоб, значит, мастер домой добрался. А он в благодарность проект нарисовал, по которому Акадэмию и построили. Хозяин, боярин Вышко Глузный, тогдашнего царя брат младший, первым ректором и стал. Он и устав создал. Оттого и есть там слова, что на землях Акадэмии все меж собою равны.

Сказал Арей и усмехнулся этак кривовато. И верно ведь, написать-то легко, а поди ж ты сделай так, чтоб столбовая дворянка чернавку ровней себе признала.

Но глядела я на Акадэмию.

Любовалась.

И на девок, что вдоль дороги ходили, прогуливались. Сверху-то они вроде и крохотные, что ляльки деревянные, которых дед Микей на ярмарку режет. Правда, его-то старуха в простенькие платица лялек тех рядит, а энти... и издали сияют золотом, серебром боярские роскошные наряды.

И где мне на них ровняться-то?

Да и сами девки хороши... красуются друг перед дружкой, раскланиваются вежливо... аккуратно как наши, деревенские, перед хороводом.

Но Арей на девок поглазеть не позволил, тронул за руку и, указав куда-то, спросил:

– Вот там, левее, видишь?

Вижу, сие здание обыкновенное, конечно, для столицы. В Барсуках, небось, ничего подобного нетути.

– А еще левее...

Сад предивный. В него я тоже заглянуть пыталась, да только сад тот оградой обнесен был. А в ворота никого не пускали. Сверху-то видать, но мало: забор и дерева, что над забором высятся, да только не разобрать, то яблони, груши аль сливы. Хотя, может статья, и вовсе некие диковинные, названий которым я ведать не ведаю, знать не знаю.

– Насмотришься еще, как практика подойдет. Теперь направо, – Арей развернул меня в другую сторону. – По стене...

Стена вилась змеею каменной да огибала некрасивое плоское строение, будто бы вдавленное в землю. И ежели б не камень, из которого сложено оно было, земля б вовсе его проглотила.

– Там некромантусы учатся. Мертвецкая у них. Лаборатории. Не самое приятное



местечко. Говорят, прямо из подземелья ход имеется на городское кладбище...

– Жуть. – Я коснулась лба, призывая Божию очистить меня и от эакого, пусть и далекого, но все ж присутствия тьмы. – А нашто им на кладбище?

– Так ведь трупы постоянно нужны. Конечно, от города отписывают. Когда бедняков, которых хоронить не за что, рабов опять же... – Он помрачнел и тихо добавил: – Особенно когда старые становятся или калечные. Зачем кормить лишний рот, когда продать можно?

– Живыми?

Божиня милосердная!

– Живых Акадэмия не покупает, но... довести человека до смерти не так уж сложно.

Его правда.

Вспомнился вдруг старик-приблудыш, прибившийся в Барсуки позатою зимой. Был он худ, волохат и бледен, людей дичился, поселился в раскопе под корнями старое сосны. Там и жил. Наши-то, барсуковские детишки ему хлеб таскали, а старик им глиняные свистульки лепил.

Беглый ли?

Наверняка. Да только такого искать не станут. Но все одно прятался... и зиму хотел в том же раскопе пересидеть, только староста наш силою вытащил.

В дом отвел.

Отмыть велел, причесать, одежонки дал какой-никакой, а после посадил со старухами, небось, мелкое работы в хозяйстве завсегда хватит. И жил старик, до самое весны дотянул, даже мяса на костях прибавил, а все одно сгубила его лихоманка.

Бабка сказала, оттого, что слабый.

А еще сказала, что не такой уж старый он, четыре десятка годочков, перетруженный просто. И ежели так, то много ли ему надо было?

Всяк хозяин волен над рабом своим, так человеческая Правда глаголе, а вот Божинина о милосердии говорит. Но только далеко до Богов, люди, чай, ближе.

Не успела я додумать, потому как раздался протяжный сиплый звук, будто бы кто-то трубит в рог преогромный. От звука ли этого аль сам по себе, ветер поднялся, плеснул в лицо духмяною цветочною волной.

– Вот и женихи твои едут, – нарочито веселым голосом произнес Арей. – Теперь гляди...

А поглядеть было на что!

# Глава 13, где Зося знакомится-таки с женихами, правда, они об этом не ведают

Рожки гудели.

Гремели барабаны. Золотом червлёным стяги отливали. Ступали нога в ногу царские стрельцы в алых кафтанах, поясами широкими подвязанных. Все, что один, высоки, бородаты, бердыши на плечах несут, да до того острые, что солнечный свет режут, тот и падает да под ноги ковром преудивительным.

Девки охают.

Ахают.

Теснят друг дружку, позабывши про гонор боярский. Каждой охота поближе подойти, поглазеть, что на стрельцов, что на царевича, пусть бы и твердил Арей, будто бы спрячут, а все одно. Да и без царевича молодцев хватало.

Только стрельцы вдоль дороженьки выстроились, перекрестили бердыши, девок не пуская.

А там уж и рынды царские пошли, в белое ряженные. И тоже высоки, грозны. У них кафтаны с позолотою, заместо бердышей – палки особые, гладенькие. И вроде смех, а не оружие, да только слышать и мне доводилось, что палки эти зачарованные, они и доспеху пробьют, и стену каменную, а мечи и вовсе об них ломаются, будто былье.

На рынд я загляделась.

Справные молодцы.

И лица бреют гладенько, на норвинский манер...

– Не туда смотришь. – Арей не дал подумать, бреют ли рынды и головы, как о том говорят, а ежели бреют, то на кой ляд? Небось, лысой голове неудобственно. Летом солнышко ее жарит, а зимою морозы студят... хотя оно под шапками и не видать, авось, врут люди. – Вот, смотри...

Первым в воротах показался вороной жеребец.

А и ладный конь! Этаких на шкатулках малюют. Ноги тонюсенькие, шея гнутая, голова махонькая. Грива до самых копыт спускается, а в ней, черной, золотые ленты поблескивают. Всадник тоже хорош, под стать коню. Сидит боком, поглядывает на девок свысока... сам в золотую чешую доспеха упрятанный... снял шелом, и охнула я.

Не только я.

Под шеломом, за личиною кованою, золоченой, не видать-то, что всадник – азарин. А как снял, то и ясно стало. Вона, лицо круглое, смуглое, будто бы копченый бок свиной. И лоснится-то, что маслом намазанное. Губы пухлые, вывернутые, а нос и вовсе по-девичьи курносый.

– Благородный байша Кирей-иль-Хасаим, – тихо произнес Арей, а после добавил: – Дядька мой.

– Родный?

– А как иначе? – Арей облокотился на перила.

Любопытно ему было?

Мне вот – любопытно, потому как не чаяла я в наших-то краях живого азарина узреть.

Да еще не полонянина, вона, небось, полоняне на таких-то конях не ездят. А у самого волосья длинные, что грива конская, и масти такой же.

И с лентами.

– В последней войне многие полегли... азары не только в вашу сторону ходили, под рукой кагана сто земель и еще с полста лежали, а еще сто дань платили. Но у кагана врагов, что собак бродячих на городском пустыре. – Арей говорил спокойно, однако же взгляда не сводил с дядьки, который вовсе не выглядел дядькою, но был Ареевых лет, может, чутка старше.

Ишь, улыбается.

И клыков не прячет. Руку поднял, откинул копну темных волос, и стало видно, что не просто азарин, но из благородных. Вона, торчат изо лба рога темно-красные, загнутые.

Кто-то из девок, из тех, что послабей, завизжали, кто-то даже чувств лишился от страху этакого.

– Бунтовать стали... поначалу игоры, после и бхеи, а там и Волошия поднялась. А где бунты, там и смута... порезали кагана и всю семью его.

Арей отстранился, и не диво, потому как осадил вдруг азарин своего жеребчика да так, что, норовистый, тот свечою стал. Но не сбросить ему всадника, небось, не зря говорят, будто азары с седлом меж ног на свет родятся.

– И стал каганом мой дед. Он же с вашим царем и подписал вечный мир. А залогом отдал сына своего, единственного, который был... который тогда был, – уточнил Арей. – У азар много детей родятся, потому как жен берут себе столько, сколько прокормить способны. Теперь у меня дядьев не то семеро, не то восьмеро. Этот – девятый. Он с вашим царевичем рос. И вырос. И учиться будет...

Не понять было, рад Арей этакому известию аль не рад.

Азарин же держал коня и головою вертел.

Улыбка его исчезла, а лицо сделалось таким, что... сразу видно – не человек.

– Так ты, выходит...

– Раб я, Зослава. Беглый. И только. – Арей поднял волосы со лба, и я увидела два круглых пятна. – Что для людей, что для азар... ни один азарин, коль жив, не допустит такого позору. Скорей умрет, чем позволит.

Пятна были сухими.

– Кто...

– Отец. Решил, что этак я больше на людей походить буду. – Он отер лицо. – Извини... не думал, что так... нехорошо будет.

– Уйдем?

– А женихи?

– Насмотрюсь еще.

Арей лишь головой покачал и улыбнулся. Вымученно так улыбнулся.

– Я тебе сказал это, чтоб знала... Кирей меня за родню не признает. И потому, коль по нраву он придется, то... лучше держаться от меня стороной.

По нраву?

Азарин?

– Сын кагана. – Арей отстранился от перил и к двери даже попятился. – Ведьмак силы немалой, ежели пустили. И трон ему занять не позволят, да только... он и спрашивать не будет, ежели решит, что желает на белой кошме сидеть.

Азарин тронул коня, пуская широкою рысью. Разглядел, чего желал? Не понять по лицу-то.

– И жен у него пока нет ни одной, а значит, первую станешь. Главною. Сына родишь, так вовсе по левую руку сажать станет. Золотом осыплет, камнями самоцветными...

Я головой покачала.

Каменья?

Как-нибудь и без каменьев проживу, небось, бабка меня не поймет, коль за азарина замуж пойду. Да и... нехорош он мне, темный, смуглявый, да еще с рогами.

– А вон боярин Лойко Жучень, – Арей указал на молодца, что сидел, подбоченясь. И вновь конь хорош – огромный, копыта что миски – а всадник так того лучше. Этот лик за шеломом не прятал, оно и понятно, ни к чему.

Кругл боярин, белокож.

Волос золотом вьется, глаз синий сверкает, на девок поглядывая. И вправду, жук такой... небось, хоть дворянского роду, да своего не попустит. А девки, дуры, млеют, цветочки кидают под копыта коню.

– Единственный сын рязенского урядника, в котором ни батюшка, ни матушка души не чают. Говорят, что боец знатный, справный, а вот дару в нем еле-еле, но и того хватило, чтоб в царевичевы друзья пойти...

Наклонился вдруг боярин с седла, выхватил девицу, что прошмыгнула меж бердышами, да под свист, улюлюканье поднял в седло.

Поцеловал да напрямиком в губы.

Срамота!

Нет, с таким мужем жить – девок гонять... а еще и говорить станет, что раз боярского роду, то и закон ему не писан...

– Экая ты переборливая, – засмеялся Арей. – А вон, глянь, Илья Мирославич, царев родственник, но не из любимых. Батюшка его, на Круческую губерню поставленный, проворовался, а после и вовсе со смутьянами дружбу свел, через то головы-то и лишился. Боярыню в монастырь спровадили, грехи мужнины замаливать, девок – к царице на воспитание, а Илью – к царевичу в друзья...

– Откуда ты...

Арей будто и не услышал.

– Норову Илья тихого, не в отца пошел. И воевать не любит...

Конь под ним неплох, но не сказать, чтоб хорош, мышастое масти. Сидит боярин, глядит перед собою, но не понять – видит ли, понимает, что вокруг. Лицо его худо и бледно, волосы пегие в хвост стянуты. Доспех простой...

– Книжная душа. Михаил Егорович говорит, что талант у него большой, и не к силе ведьмовской, но к ее пониманию, а это – ценней. Заклятье-то выучить любой может, но не любой заклинье составит... Илья из таких. Дальше – Игнат, братец мой...

Рыжий конь, всадник сидит подбоченясь, пытаясь походить и на азарина, и на Лойко, да только не хватает ему лихости, ловкости... и дивно мне было видеть в том боярине старого знакомца, которому глистов давече спровадить помогла. С тое-то поры не переменился, худляв и бледен, но в седле сидит крепко, за шабельку свою держится.

А с Ареем – ни малейшего сходства, видать, в боярыню пошел Игнат.

– Неплохой парень, хоть и балованный. Матушка его берегла... боялась, что сглазу, что оговору... уже потом, когда я... ушел, то и отправила к царевичу в друзья... решила,

верно, что мстить стану.

– А ты станешь?

– Брату? – Он дернул плечом. – Ему-то за что? Он в бедах моих невиновный. Да и... никто, наверное, не виновный. Сложилось так. Судьба, значит. Но вон там, гляди...

Сразу трое.

Кони идут широким шагом, всадники красуются.

Кони вороные, упряжь с серебром, с колокольчиками зачарованными, копье звон их и на Часовой башне слышать. Шеломы сверкают, кольчуги на болгарскую манеру, чешуею рыбьей...

– А этих не знаю. – Арей по всадникам скользнул равнодушным взглядом. – И тех тоже... из ближней свиты, значит. И Зимовит среди них...

Глядела я, сугубо из любопытства бабьего, поелику как же ж так, не поглазеть-то при таком случае? Да только... конники-то с лица будто бы братья...

Но у царевича братьев нет.

– А чего они... ну...

– А их царица нарочно выбирала, за сходство. И не просто выбирала, а из простых, из холопов, которые знают, что волею своею царице обязаны. Не только волей...

Холопы?

Не было ничего-то холопского в молодцах, что ехали по мощеной дороге. Все-то как один красавцы писанные, и сидят ровно, глядят смело. Этакие не станут ни спину гнуть, угодничая, ни шапку ломать. А плетью замахнешься, так и сами этою плетью выпорют.

– Верно думаешь, – сказал Арей, а я поежилась: уж больно догадливый он, этак и поверить недолго, что взаправду мысли читает. – Да только на то и расчет. Ничего-то у них за душою нет, кроме милости царской. Это для царевича они – сердечные друзья, а боярам – кость в горле. Вот не станет царевича, они мигом на плахе окажутся. Оттого и стерегут, оттого и верны, что псы цепные... и тайну царевичеву ни за деньги, ни за славу не выдадут.

– Хитро.

– Жизнь во дворце такая, что иначе никак. У вашего царя врагов не меньше, нежели у кагана. А детей вот...

И то верно, не оделила Божиня государя наследниками. Но про то говорить было не принято.

– Не станет царевича, тогда и под царем трон зашатается, – продолжил Арей, а я слушала.

Нехорошая то беседа, смутую отдает.

Услышь кто... но на счастье Ареево тихо было в Часовой башне, безлюдно.

– Вспомнят бояре, что иные рода и подревней царского будут... небось, те же Миславичи... или вот Велимиры батюшка... но у него самого сыновей нет, зато спит и видит, как бы дочку свою да на царский трон усадить. Только и царица не глупа-то, понимает, что сегодня он друг, а завтра, как наследник у дочери народится, то и нет. При малолетнем-то правителе стоять куда как сподручней. Оттого и не допустит царица к сыну Велимиру, а случай выпадет, так и вовсе на дружбе царском оженил, из тех, которые холопы. Умная она женщина. Таких беречься надобно.

Сказал и замолчал, вниз глядя.

И я глядела, хоть бы и пропала радость всякая, и замуж аж перехотелось.

# Глава 14

## Об Академии, учебе и берендеях

Встала я вновь засветло.

А что поделать? Привычка... тучочки, конечно, нет надобности ни корову доить, ни кур выпускать, разлупила глаза и лежи, гляди в потолок, думай думы всякия... а думалось о разном. О курах, само собою, потому как бабка собиралась какую на яйца садить и к курячьим подкинуть пару гусятых, у Аксамитихи взятых. И вот любопытственно мне было, высидит кура гусятых аль нет?

О корове вот тож думалось, с печалью, она-то у нас балованная, абы кого к себе не пустит... зато молоко такое жирное, что сливок – едва ль не с половину ведра. Ни у кого в Барсуках боле такой коровы нет... и что бабка с тем молоком делать станет? Она-то старенькая уж, а там и сцедить надобно, и отстоять, и разлить, что киснуть на сметанку, что в масло взбивать... творог опять же, сыры.

Нет, дома работы много, не присядешь спозаранку.

А летом и огородик еще, куда только по холодку и выходить, поелику к полудню такая спякота стоит, что сорняк сам ложится. Тут же... тоска... и женихи еще эти, всю ночь снилися, покою не давали. То один сунется с колечком, то другой. И Лойко глазами подмигивает, мол, пойдём-ка, Зося, до сеновалу жениться, азарин скалится да рогами трясет, аккурат что старостин козел, редкостно дурного норову скотина... эх, надо было спросить у Арея, правду ль бают, что у азар хвост есть, махонький, навроде свинячьего... а если есть... глянуть бы одним глазочком...

Но думать надо было не о коровах и хвостах, но о том, что ныне – первый день моей учебы, и оттого боязно мне было, так боязно, что хоть под одеялом схойся да и не выглядывай.

И в животе бурчало нехорошо так.

И вставать уж надо было б, собираться... вона, и побудку прогудели.

А руки занемевшие, пальцы в кесе путаются, гребень то и дело падает, а когда не падает, то вязнет в волосах, и дерет, и того и гляди все выдерет.

Одевалась я медленно.

Сбежать бы... куда мне в науки боярские лезти? Небось, не войдут в голову... а коль полезут, то и вылезут, повыветреются... захотелось девке в воителки... вот будет-то смеху всем.

А и пускай.

Подвязав рукава рубахи, я натянула сарафан, из тех, которые попроще, чуюло мое сердце, ныне придется мне тяжко... и Арей не заглянет.

Сам вчера сказал.

Не стоит мне с ним видеться... а оттого на сердце тяжко, будто бы предала... не поймут... не примут меня, коль стану с рабыничем дружбу водить. И замуж не выйду, а я ведь за-ради мужа сюда и ехала... и все ведь правильно он сказал, толково, как умел, только оттого и горше.

Шла я на учебу, будто бы на казню.

Благо, дорогу знала, Арей еще когда показал, велел запомнить. Не одна я шла, гуськом

потянулись боярыни, одна другой краше. Вновь наряженные, с лицами белеными, с бровями сурьмяными, в каменьях да атласах. Были тут девки и попроче, купеческого звания, а то и вовсе простого, крестьянского, но те держались в стороночке, тихонечко и выглядели серыми да блеклыми. Меня они сторонились, будто бы боясь, на боярынь же глядели кто с завистью, кто с опаской. И верно, лучше уж на гадюку наступить, чем боярской дочери на подол платья, даром что подола эти на византийскую манеру хвостами вытянулись, метут дорожки...

Вновь загудел рожок, поторапливая.

Да только не в боярской-то натуре спешить, собственную честь роняя. И девки простые не смеют поперек боярских дочек соваться, только шеи тянут, что гусыни, на двери отверстые поглядывая со страхом. А меня-то такая злость взяла... тоже мне, ученицы-знахарки этикие, ежели и видели кого болезного, то издали...

– Пропустите, – сказала я, раздвигая двух боярынь, которые от этой наглости аж обомлели. – Не слышали? Рожок гудит. Еще дважды прогудит, а потом двери закроются.

Это я сама придумала.

Боярыни плечами пожали, небось, привыкли, что перед ними любая закрытая дверь по первому же стуку отворяется.

– Пустите... извольте поторопиться... в стороночку...

Ох, и тяжелы же дворянские девки, а вроде глянешь на такую, пушай и дебелия, но все одно – девка, но попробуй-ка тую девку подвинуть... и злятся, главное, шипят.

Словами нехорошими грозятся.

Карами многими.

А что кары? Я, может, к знаниям тороплюсь.

– Извините, – я говорила, как Арей учил, вот только без толку.

– Куда прешься, девка?! – Перед самым носом моим возникла рука с плетью.

Рука была боярская, Велимиры-красавицы, которая нынешним днем обрядилась в парчу златотканую, а на плечи еще, для пушей красоты, шубку соболью накинула.

На шее жемчуга.

И в ушах.

И лента ими же шита, а поверх ленты – шапочка крохотная, ко всему перышком заморской птицы украшенная. И хороша собою Велимира. Личико точеное, кожа сама бела, без белил, румянец ярок. Губа-малина, глаз синий, яркий, что небо... вот только злой премного.

– На занятия спешу, – ответила я, в глаза эти, пресиние, глядячи.

– Поперед меня?

Спросила так, что поневоле захотелось поклониться и до самой земли, а еще испросить прощения у боярыни-матушки за дерзость свою холопскую, что едино от дурного норова происходит.

Захотелось.

И расхотелось.

– Здесь все равны. – Я сама онемела от собственной этой смелости. – По уставу.

– Равны? – Велимира плеточку в другую руку переложила.

Приподнялись брови ее, темные, вразлет, таким ни сурьма не нужна, ни соболиный волос, которые иные хитроумные девки рыбьим клеем крепят, чтоб попышней бровь гляделась.

И отступить бы мне, покаяться, глядишь, и прощена была б, да только натура берендеева, упрямая.

– Студиозусы Акадэмии – есть лица, меж собой равные, невзирая на то, каким званием и имуществом владеют они же или ближние им лица по-за стенами Акадэмии, – прочитала я наизусть.

А боярыня лишь рассмеялась.

– Бойкая холопка... равные... – И рученьку нежную убрала, с плеточкой. – Но иди, беги... глядишь, и вправду чему научат.

Как я отступила, то и добавила тихонечко, верно, думая, что не слышу:

– Ишь ты, чему здесь учат... небось, тятеньке любопытственно узнать будет, где смута в головах холопских рождается...

Не стала я боярыне ничего говорить, но лишь шагу прибавила. Успела я к двери.

И за дверь.

И до классу своего, который туточки именовался на латинскую манеру аудиторией. Вошла и обомлела: огромная комната. Пол малахитом узорчатым выложен, да так хитро, что в прозелени его видятся картины всякие, будто бы трава растет, и деревья, и птахи выются, порхают с ветки на ветку. И золотые прожилочка змеями.

Стены – беломрамурные.

На стенах – картины, да не те, наспех малеванные, каковые ноне по кабакам вешают для благолепности облику, но с физиями мужей лобастых, сразу видно – учености немалой. И хмурятся оные мужи, взирают на меня неодобрительно, и чудится, подойди поближе, высунут руку из рамы, за косу цапнут и станут тягать, приговаривая:

– Чего творишь, девка шальная?

– Куда прешь, девка шальная! – сказали вдруг над самым ухом, и я шарахнулась под обидный гогот студиозусов. А набралось их приличне.

Тут тебе и молодцы вчерашние, что ноне выглядят попроще, доспеху сняли, коней на конюшню спровадили... ото и верно, к чему коням в Акадэмиях учиться? Сами в рубахах простеньких с виду, да только рубахи те, хоть и скроены обыкновенно, да не суконные – шелковые. И расшиты по вороту красной да зеленою нитью.

– Ты, девка, – вышел вперед Лойко, руки на грудях скрестил да одарил меня взглядом насмешливым, – заблудилась, верно. Тебе в пятую классу, к целительницам...

И хохотнул этак баском.

– Если хочешь, провожу, – сказал и за ручку взять попытался. А у самого-то глаза, что у Матрениного кота, когда он слоик со сметаной видит... э нет, не позволю я всяким тут меня за руки мацать. С этакими-то женихами ухо остро держать надобно. Сегодня он до классы проводит, а завтра – и до сеновалу, там же счезнет, что тень в полдень, будто бы и вовсе его не было.

– Лойко, отстань от девки, видишь, онемела, тебя узревши, – это уже дядька Ареев произнес.

По-нашенски он говорил чисто, оно и понятно, что царевичевы няньки навряд ли позарски балакали. А сам-то глянул и бровку приподнял этак, любопытствуя. Сення в белой же рубахе, как и прочие. Волосы темные свои в косу заплел, которая вышла толстенною, и девка позавидует.

– Холопка, – хмыкнул Лойко. – Они все боязливые. Не бойся, болезная, Кирейка девок не трогает... по принуждению не трогает. Но коль охота, то еще как потрогает...



И вновь засмеялся.

Весело ему, стало быть.

– Лойко, – окрикнул его Илья. – Прекрати. А вам, девушка, и вправду поспешить стоит, если не желаете опоздать.

И рученькой этак махнул на дверь, чтоб, если уж совсем я, болезная, растерялася, то поняла, куда мне итить надобно.

– Спасибо. – Я Илью поблагодарила, однако же с места не сдвинулась. – Я правильно пришла...

Лойко вновь засмеялся, громко так, обидно... ажно затрясся весь. А я от него отвернулася. Не хочу такого в мужья... кто над слабым смеется, тот перед сильным сам шею гнет. А на что мне супруг гнутый?

Огляделась.

И улыбнулася, Ареева братца завидевши. Стоит, бледненький, в стороночке, мнется.

– Доброго вам дня, господине, – сказала превежливо и присела, как Арей учил, может, не сильно справно вышло, но так я ж только учуся.

Он кивнул и побледнел пуще прежнего.

И за живот схватился.

А это нехороший признак, стало быть, не помогло мое зелье. Всегда ж помогало, а тут... может, в городах какие-то особо ядреные глисты водятся, которым и зелье-то особое готовить надобно? Вот я и поинтересовалась:

– Как ваши глисты поживают?

– С-спасибо, х-хорошо, – процедил тот сквозь зубы, и на щеках красные пятна полыхнули. – То есть плохо... то есть никак! Нет у меня глистов!

Игнат это выкрикнул и рученькой за пояс себя мацнул, да только шабли-то при нем не было. В Акадэмиях с оружием ходить неможно.

– И вообще, отстань от меня! – Он вовсе невежливо спиною ко мне повернулся, сказавши царевичевым дружкам: – Прицепилась, что репей! Глисты ей, видишь ли, повсюду мерещатся... блажная, небось.

Обидно стало.

Вот оно как... я ему от души чистое помочь желала, а он блажною меня... и главное, прочие-то посмеиваются, весело им, стало быть...

– Блажных тут нет, – сказал другой царевичев дружок, который серед прочих выделялся статью. – Блажные за воротами остались...

Договорить ему не позволили.

Вновь загудело, а после дверца и отворилась, не та, в которую я вошла, но другая, каковой до сего моменту будто бы и не было. И вошел в нее мужчина преогромный, небось, и на ярмарках таких не водют, а там-то всякого люду довольно, я давече сама глазеть ходила на бородастую бабу и теля двухголовое. И тут вылупилась...

Страшен, матушка ты моя родная!

Высоченный. Широченный. И с бороною косматой, которая, правда, в косицы заплетена, и этак хитро-прехитро. С каждое косицы лента спускается, а на ней – звоночек золоченый.

Голова же лысая, обритая и маслом духмяным натертая, видать, для пущего блеску. Я-то сразу запах учуяла, остальные же... остальные тоже глазели, позабывши про чины и смелость. Небось, сам Лойко, до чего высок, а все одно и до плеча оногo мужчины не дотянется.

И выряжен тот престранно, в ремни какие-то, будто бы некто, видать, с остатку ума решил взнудать оного великана, и взнудал, а запрячь забыл.

Ремни широкие.

На одних – ножи крепятся, на других – штуkenции непонятные, блискучие. На плечах его – обручья железные. И на запястьях. А от обручья к обручью идет рисунок, змеи красные да зеленые, и так славно рисованы, что будто бы живые.

– Доброго дня, господа студиозусы, – гулким басом произнес человек и поклонился. Стало видно, что голова его не полностью обрита, но на самом затылке имеется крохотный хвостик, ленточкою перехваченный.

# Глава 15

## О наставниках и последствиях мужского шовинизма

– Доброго дня и вам, сударь... – выступил старшой из царевых людей.

– Наставник Архип Полуэктович. Судари остались за воротами. Я же буду вашим учителем... и куратором. А это значит, что коли у вас вопросы появятся или еще какая блажь в головы дурные взбредет, то я буду и отвечать... ну или разбор учинять, взыскивать наказание с невиновных, награждать непричастных.

А ступал-то он легонько, будто бы и не было в нем весу вовсе.

И ноги босые.

– Наставник Архип Полуэктович, – повторил он, глядя в светлые глаза царевичева человека, и тот взгляд выдержал, ответил:

– Елисей.

– Евстигней, – представился другой, на рубашке которого виднелись черные бусины.

– Егор.

– Ерема.

Этот был рыжеват и чубат, а на носу веснушки проступали.

– Емельян...

Хмурый, серьезный, и не по вкусу ему наставник Архип Полуэктович...

– Еська, – широко улыбнулся последний, самый худой изо всех. – Но можно и Холера Ясная, откликнуса...

Называли себя и остальные, на ком наставник Архип Полуэктович задерживал свой взгляд. И до меня черед дошел.

– Зослава, – сказала я, холодея.

А ну как погонит?

– Зослава, значит. – Он не спешил гнать, но вдруг оказался рядом, руку протяни и коснешься, что ремней, что змей застывших. Вона, как уставились на меня рисованными круглыми глазами. – Что ж, Зослава... нелегко тебе придется.

– Так она, – подал голос Лойко, – что, с нами учиться будет?

– Будет, – согласился Архип Полуэктович.

– Она ж баба!

– Женщина.

– Да кто ей вообще позволил...

– А это не твоего ума дело, студиозус... – Рука наставника Архипа Полуэктовича оказалась тяжелою, и от затрешины Лойко пополам согнулся. – Твоего ума дело – учить, чего скажут. Молчать, пока иное не дозволено. И надеяться, что, когда дурь из тебя повыбьют, хоть что-то да останется.

Лойко засопел, голову потирая. Хотел ответить зло, но смолчал, видать, доходчиво объяснял Архип Полуэктович.

– Что ж, вот и славно, ежели больше вопросов и возражений нет...

– Простите, наставник, – вперед выступил Евстигней, поклонился со всею обходительностью. – Никто из нас не ставит под сомнение мудрость тех, кто создал Акадэмию, однако же понятно удивление моих... собратьев.

Запнулся.

И стало быть, не почитал Лойко за собрата, то ли дело Ерема с Еською, которому не терпелось прям так, что он аж на месте приплясывал.

– Непривычно нам видеть женщину там, где издревле обучались мужчины... и мы беспокоимся единственно о здоровье сударыни Зославы, которое эта учеба способна подорвать...

Он говорил бы еще много, но был остановлен рукою Архипа Полуэктовича, каковой, я смотрю, оную руку для вразумления студиозусов использовал, не чинясь.

– Умный, стало быть?

– Не мне судить о том, – с притворною покорностью ответил Евстигней.

– Умник... а раз ты таков умник, то скажи мне, кого видишь. – И подтолкнул ко мне.

Как подтолкнул... от такого тычка в плечи Евстигней на ногах не устоял, полетел, да прямехонько в меня, головою ткнулся в груди...

Еська засмеялся, но под взглядом Архипа Полуэктовича смолк.

Евстигней же, покрасневши, сделавшись с лица один в один, что свекла вареная, все ж нашел в себе силы поклониться.

– Прошу простить мою неловкость, сударыня Зослава...

А мне чего?

Простила.

Мне грудей для хорошего человека не жалко.

– Ты не расшаркивайся там, – прогудел Архип Полуэктович, – чай не во дворце, а говори, чего видишь...

Евстигней покраснел пуще прежнего и в бусину черную вцепился.

Вот странный человек, кто ж черные-то носит? Синие от шьют, из фирусы-камня выточенные, чтоб здоров был тот, кто рубаху носит, чтоб не тронул его ни взгляд дурной, ни лихоманка, ни тоска дорожная. Желтые, бурштыновые, на светлое сердце. Красные, из гернат-камня, на силу телесную и крепость душевную. Малахитовые – для спокойных снов да пути легкого, а вот черные... черными бусами мораньи пути усыпаны, а ходят по ним – души заблукавшие, которым нет дороги в вырай.

– Девку... простите, девушку вижу. Лет двадцати...

– Семнадцати! – поправила я. Ишь, вздумал девке годы набавлять! Сами набегут, оглянуться не успеешь.

– Семнадцати... по платью судя, не дворянского роду и не купеческого... из простых, хотя и не холопка, те иначе держатся.

– Умник, – хмыкнул Архип Полуэктович. – А все одно дурак. Я тебя не про платье и не про звание спрашивал... вот, подумай, коль встретил бы ты этакую вот... девушку... да ночью на пустой улице, испугался бы?

– Я?

– Ты, ты, кто ж еще... ладно, со страхом это я слегка перегнул, но вот, скажем, стал бы ты опасаться...

– Девки?

Евстигней аж головою затряс, верно, не желая и представлять себе этакого, чтоб он да девки испугался...

– Значит, нет... и когда б решила она напасть, ты б всерьез не принял?

– Ну... нет... то есть, конечно, не принял бы...

– И дурак... Зося, ходь суда.

Я и подошла, еще не понимая, чего хочет от меня наставник. Ну да мне-то с наставниками прежде дела иметь не доводилось, наш жрец, который грамоте учил, не в счет, был он стар, туговат на одно ухо, а потому имел нехорошую привычку все переспрашивать.

И орал еще...

– Вот, Зося, возьми. – Он скрутил кукиш, но как-то так хитро, и перед самым моим носом возник дрын. Ну, не совсем чтоб дрын, палка гладенькая, длинная. – А ты, Евстигнеюшка, попробуй-ка ныне оружие у Зоси да отнять. Ты, Зослава, не чинись. Он у нас парень крепкий, так что, коль разойдется, то садани разок-другой...

Евстигней покосился на дрын с неодобрением.

Похоже, оружных девок ему встречать не приходилось, небось, на царское усадьбе девки были иного толку. Слыхала я, что для молодых бояр выбирают холопок, чтоб и с лица хороша, и норовом ласкова... по мне уж, лучше в поле пахать, чем на этакой службе.

– Вы не могли бы отдать мне палку? – поинтересовался Евстигней.

Дружки его захохотали, засвистели.

– Будем считать это первым пробным боем, – сказал Архип Полуэктович, руки на грудях скрестивши. Он на студиозусов взирал ласково, да только от той ласки у меня по хребту мурашки побежали.

– Нет, – ответила я Евстигнею и дрын к себе прижала.

Не отдам.

Он же, понявши, что выглядит преглупо – у девки и дрына не забрать! – в два шага подошел ко мне и в палку вцепился. Рванул на себя... крепко так рванул, будь у меня силы поменьше, выпустила б, да только недаром я в деда пошла.

Удержала дрына.

И Евстигнея в грудки пихнула, легонечко, как показалось, да только он на ногах не удержался, отлетел, как-то по-хитрому перекувыркнувшись, аккурат, что кошка лядащий, который с крыши сверзся.

И вновь на ноги вскочил.

Кинулся, уже не просто так, с прискоком, будто бы танцуя. Дружки свистели, хохотали... подбадривали, значит. А он то подходил, то отступал, к дрыну примеряясь, пока мне все это не надоело. Оружия? Глядишь, милостью Божини, и не покалечу царевичева дружка... он сам взвизгнул тоненько и кинулся вдруг в ноги, да только я дрыну поставить успела.

Ох и бухнулся он в него головою! Аж в руках у меня гудение случилось...

– Готов, – Архип Полуэктович подошел и ногою Евстигнея попинал, тот не шелохнулся даже. – Ну, кто у нас там еще герой?

– А ежели я? – выступил вперед азарин, ослабил широко. – Не заботится девица-красавица? Ах и хороша...

Этот не плясал, стлался змеем да по камням, говорил, нашептывал... моргнуть не успела, как он уже рядышком, едва ли не в шею дышит.

Приобнял по свойски.

Дрын из рук выкручивает. Экий быстрый... а еще приговаривает, что будто бы волосы мои шелковые... тьфу, срамота!

Я крутанулась, хорошо так крутанулась, как тем разом, когда Михейка, подпивши, стал меня на сеновалу звать, и отпихнула боярина. А чтоб не баловал, то и дрыном по плечам

переехала.

– Готов! – Архип Полуэктович улыбался во весь рот. А зубы у него острые были, подпиленные, и глядеть-то на этакое страшно. – Лойко?

Этот попер прямо, что медведь-шатун, за что и получил по лбу...

– Хватит. – Представление надоело Архипу Полуэктовичу, а я только-только во вкус вошла. Когда еще доведется по боярским спинам да палкою постучать?

Аррей вот оценил бы... и оценит, как расскажу.

Однако наставнику перечить я не посмела и дрын вернула. Еська помог подняться Евстигнею, который голову щупал, а на меня поглядывал недоверчиво, но без злости, что хорошо. Лойко был мрачен, а по азарину не понять, стоит, улыбается, подмигивает то левым глазом, то правым. Может, это у него нервическое? Бабка сказывала, что у людей благородного рождения случаются болезни, которые от великого ума идут аль от души, зело нежное. Оттого и боятся глядеть боярыни на всякое уродство... а тут я и дрыном.

– А теперь что скажете? – поинтересовался Архип Полуэктович и на пол сел, на азарский манер, ноги скрестив.

Кирей примеру воспоследовал, приглашения не дожидаясь. И Елисей сел. Еська устроился рядом, но руки Евстигнеевой не выпустил, и его сесть заставил.

– Девка с дрыном, – весело ответил Еська, – это сила!

– Сила. И без дрына... мораль сего урока такова, что не след недооценивать противника. Любой, кто выйдет против вас, будь то девка аль старик, дитя горькое, заслуживает уважения.

Сидеть на полу было твердо.

Неудобно.

Да и чувствовала я себя дура дурой, даром что при сарафане. Однако же и стоять, когда все посели, было неприличественно.

– Это первое... а второе – к любому противнику следует отнестись не только с уважением, но и с вниманием. Вот ты, Евстигней, на платье глядел, а не на Зосю. Платье-то что? Сегодня – одно, завтра – другое... была холопкою, стала барыней.

Лойко хохотнул, до того нелепо прозвучали слова Архипа Полуэктовича, правда, тотчас примолк и затылок почухал, вспомнивши тяжкую наставникову ладонь.

– Верно, сменить повадку сложней, нежели платье, однако же можно при умении... но мы сегодня об ином. К слову, Евстигней, ты ошибся, Зослава у нас княжеского роду...

– Чего?

Евстигней аж на ноги вскочил, но тут же устыдился, сел, но на меня все одно поглядывал этак с недоверием.

– Другое дело, что князья, Евстигней, разными бывают... род ее батюшки, ежели мне память не изменяет, древний зело, хоть и не особо богатый... но не о том речь. Видишь, дважды ты уже ошибся...

Архип Полуэктович замолчал, а Евстигней понурился. Обидно ему, должно быть, стало, что в первый же день он себя этак показал, умником, да без особого ума.

– Все ошибаются. – Наставник был спокоен. – Но умный человек ошибку свою запомнит, научится на ней и более постарается не допускать. Дурак же упорствовать станет...

# Глава 16

## О берендеях

Хлопцы заворчали: кому охота дураком прослыть?

Переглядываются.

На меня косятся.

– Так, может, кто скажет мне, отчего княжну Зославу приняли на боевой факультет?

– Ну... – Лойко сунул руку в растрепавшиеся патлы и затылок поскреб. – С дрыном ловко управляется?

Архип Полуэктович усмехнулся.

– Она и без дрына с тобой... управится.

– Сударыня Зослава, – осторожно, с опаскою даже, начал Евстигней, – весьма сильна... даже для девушки ее... телосложения.

– Верно. Еще что?

– Здоровая она, – влез Еська.

– И это верно... а еще... – На ладони Архипа Полуэктовича вдруг распустился зеленый огонек, а после полетел прямо мне в лицо.

Еле руку выставить успела.

– Быстрая... – Кто это сказал, я не услышала. От огонька рука зудела, и так крепко, будто я ее в крапиву сунула.

– И устойчива к магическому воздействию, – завершил Архип Полуэктович. – Если вы обратили внимание, то мертвый огонь с нее попросту соскользнул.

Это попросту? Да у меня рука волдырями пошла! Белыми, крупными, а они чешутся, что просто силов нет терпеть!

– Спокойней, сударыня Зослава. – Холодный голос наставника остудил мой гнев. – Уж простите, но мне требовалась наглядная демонстрация. Дайте вашу руку.

И говорит аккуратно как бабка моя, которой поди-ка ты, не подчинися. Руку я протянула с опаскою, но наставник огнями кидаться не стал, провел ладонью, прошептал словечко, и зуд унялся, а пузыри вовсе поблекли.

– Обратите внимание, господа студиозусы, всего-навсего легкий ожог... – Руку холодило, но наставник не спешил отпускать. – Тогда как обыкновенный человек... или азарин, который от человека не так уж сильно отличается, руку потерял бы... в лучшем случае, только руку.

Это он об чем?

Эта огоньшка меня без руки могла оставить?

– И еще одно... чувство юмора у берендеев отсутствует напрочь... но сей факт скорее является предостережением вам, судари. Надеюсь, вспомните о нем, когда вздумается вам пошутить над Зославой.

– У кого? – спросил Кирей, аж вперед подался, вперился в меня глазами своими. А у самого-то, что бурштнын медовый сделались, желты да ясны.

И видится мне в них...

Да мало ли чего девке сущеглупой в боярских глазах примерещиться может? От такого видения у меня и обережец есть, подкова махонькая, железная, дедом еще

даренная. Он мне так и сказал: на, мол, Зося, носи. И как примерещится неладно, аль будет какой, особо мерещивый, зазывать куды, сулить цветочки-платочки и иные женские малые радости, то схвати подковку в кулачок, да и бей аккурат промеж глаз.

Иного слова наглый мужик не понимает.

– Берендеи, – со вкусом повторил Архип Полуэктович. – Ну-ка, умник, скажи, кто таковы берендеи?

Евстигней плечи и расправил.

– Берендей – суть медведь, способный принимать по хотению своему человеческое обличье и в оном обличье жить. Берендеи сильны невмочно, а еще в жены берут человеческих женщин...

Лойко скривило.

Небось, представил моего деда медведем... а и зазря. Нет, тот медведем был, я сама видела, но берендея с обыкновенным лесным хозяином равнять не след. Того хозяина деду на один зуб...

– Коротко... слишком уж коротко и неправда. Верней, не вся правда. Берендей – не только медведь, способный человеком стать, скорее уж обе сущности его, в отличие от перевертыша, что лишь на полнолуние волком становится, равноценны. Он и медведь, и человек. И не по очереди, но сразу. Слышишь, Лойко?

– Слышу... слышу...

– Берендеев мало осталось. Говорят, что их Божиня поперед людей сотворила. Они – ее дети любимые, милостью обласканные. И коли течет в ком кровь берендеева, то будет за ним и удача, и богатство немалое. Обойдут его семью беды и напасти...

– Тогда почему их мало осталось? – не утерпел Илья.

– Хороший вопрос... а потому, что не уживется берендей с берендеихой. Норов у обоих крут. И обиду всякую, самую малую, долго помнят, порою годами. Оттого и жить предпочитают наособицу. И пару себе ищут меж обыкновенных людей. Ну или серед медведей.

– Ч-чего?

– Того, Илья, что слышал ты. – Архип Полуэктович усмехнулся. – Берендеихи-то ищут женихов себе под стать, чтоб сильны, могутны, а где такого среди людей взять? Вот и примеряют второе свое обличье. От того и рождаются... ежели в первом колене, то еще берендеи, а вот второе и третье – медведи.

Потер подбородок и взгляд отвел.

– Эти медведи, берендеевой крови, опасны весьма. У них розум есть, не человеческий уже, но еще и не животный. Такой вот... коль мирно медведь живет, то нет от того беды. С людьми порой ладит и неплохо. В иных-то краях их чтут, оставляют подношения. А медведь за то поля стережет и охотникам помогает, а они добычу делят. Но коль уродится зверь злой или, паче того, попробует человеческого мяса, то тогда и беда... ему иного уже и не надобно.

Тихо стало вдруг.

Так тихо, что услышала я, как в животе моем урчит... они про мясо заговорили, а у меня с рання самого ни росиночки маковой во рту не было. И от мяса я б не отказалась. Ладно, человеческое – байки это все, глупство, потому как знаю, что дед порою и говядиною брезговал, коль не выжарена она до хруста, а я бы съела котлеточку... аль просто тушеного, да с капусточкой, да с морквой...



– Эт-то... выходит... – от волнения, не иначе, Илья заикаться стал, – что б-берендеи... п-плодят людоедов?

– Люди тоже плодят немало такого, за что потом стыд берет. Но да... порой, коль есть подозрение, что завелася в округе берендеиха, что ищет она женихов, то и собирают охотничков, магов зовут, знахарей, всех, кого можно. Ищут логово, чтоб, значит... наверняка.

Горько вдруг стало.

И жалко тех женщин, которые, хоть в обличье медвежьем, а все бабы... и деток малых...

– Недобрый то обычай, – добавил Архип Полуэктович. – И царский указ нарушает, ибо все берендеи – под государевою личною рукой ходят...

Эк оно... а я и не знала.

Да только что людям, которые наособицу живут, указ царский? Они про него тож ведать не ведают, а коль и ведают, то одно дело – царь в столицах со своими, царскими заботами, и другое – людоежор, который, быть может, через годок-другой объявится...

– Верно мыслишь, Зослава... указ этот не блюдут и блюсти не больно-то собираются. Это ж еще доказать надобно, что забитый медведь берендеевого роду был. Вот и почти не осталось ваших.

– Значит, и она... медведица? – Братец Ареев вытянул палец в мою сторону, а сам осторожненько так отполз. Неужто решил, что прямо туточки перекинуть да жрать начну?

Зря... я до еды дюже брезгливая.

– Берендеева внучка, – поправил Архип Полуэктович. – И к обороту способности не унаследовала. Значится, матушка ее не медведя в мужья взяла, но нашла человека, по силе ей равного.

Не был батюшка столь уж силен.

Мамка-то поболее могла... как мельницу ставили, то с дедом наравне валуны с дальнего поля таскала, да такие, что не каждая подвода утянет.

Архип же Полуэктович усмехнулся, видел он мои мысли, прям как Арей...

– Я не о той силе, которая телесная, речь веду, но об истинной, которая сила духа. А еще о том, что, несмотря на кровь берендееву, Зослава человек и человеком останется. Вот если встретит она другого кого, в ком такая же кровь, тогда, глядишь, и появится на свет берендей-перевертыш. Однако же на то шанс невелик.

– А если с человеком? – Илья склонил голову набок, сделавшись похожим на нашего петуха. Тот, гонорливый, будто бы и впрямь дворянское крови, любил от так на лавку забраться, усесться да глядеть на людей честных. Выбирал кого послабше и кидался под ноги с кукареканьем. И еще клювой своею, желтою, норовил ударить. Скверного норову тварюка, а бабка в нем души не чаяла.

Голосистый, мол.

– Если такой любопытный, то попробуй...

Илья разом покраснел.

– От человека человек и народится. Но будет он сильней обычных людей. И милостью Божии оваян. Кровь берендеева густая, долго держится, колена до двадцатого, а может, и того болей, не ослабевает. Оттого в прежние времена за честь было взять жену берендеевого роду в дом... правда, чтобы с такою женою управиться, сила надобна... души, – сказал Архип Полуэктович и усмехнулся. А после добавил: – Это я вам гишторию рассказал, а к завтраму вы мне подготовьте. Ты, Кирей, про то, откуда азыры пошли и что в вас такого, что от обыкновенных людей отличает. Ты, Илья, про перевертышей... Евстигней...

Каждому досталось.

И мне в том числе.

– А тебе, Зослава, про малую домовую нежить, откуда берется, чем опасная и как вывести.

– А... где?

– В библиотеке, – не позволил договорить Архип Полуэктович. – Небось, там вас уже заждались.

Скривился Еська, проворчал:

– Опять библиотека...

– А ты что, студизус, думал без библиотеки обойтись?

Ему бы смутиться, взгляд отвести, но Еська, похоже, не из таких, недаром его Холерою прозвали. И туточки не растерялся, грудь выпятил и сказал так:

– Так мы ж боевой факультет, а не книжный!

И Лойко Жучень кивнул, хлопнул себя по бедрам, стало быть, тако же думал. Оно и ясно, куда витязю да славному в книгочеи?

– Боевой, значит, – хмыкнул Архип Полуэктович, на ноги подымаясь. И так у него ладно вышло, плавненько, что я только диву далась. Вот сидел, а вот уже и стоймя стоит, покачивается. – Ничего... навоюетесь еще. Успеется... от завтра и начнем.

Сказал и этак, с усмешечкой, на меня поглядел.

А что я? Я в воительницы не хочу... мне бы замуж.

# Глава 17,

## где повествуется о тяжелых студенческих буднях

– Зося, живей, живей! – Архип Полуэктович вновь возник из ниоткуда, чтоб на самое на ухо рывкнуть. – Что ты волочешься, как брюхатая корова... догоняй женихов...

И хохотнул этак весело...

А что, ему-то хорошо... стоит на дороженьке, камнем мощенной. Над собою парасоллю раскрыл, норманскую придумку из палочек тонюсеньких, поверх которых шкура натянута. Дождь по этой шкуре тарабанит, скатывается, а сам наставник сухеньким остается.

Не то что я... нет, дождь – это полбеда, дождя я не боялася, небось, не сахарная, но вот...

– Живей, Зося! – И по заднице перетянул розгою, не больно, но обидно. – Задницу не оттопыривай!

Да как ее не оттопыришь, когда она сама?

...Шел к концу первый месяц моего учения.

Пролетел так, что и глазом моргнуть не успела... что оставил?

Тихую ненависть ко всему вокруг, от Архипа Полуэктовича с его прибауточками, розгою да умением появляться, когда кажется, что никого-то вокруг и нету, что самое оно, времечко, прилечь, присесть, дух перевести, пока оный дух в теле еще держится.

Ненавидела я и женихов.

Оные не посмеивались, поелику и самим доставалось, но... ежели б не они, ноги моей в этой Акадэмии не было б... бабку ненавидела с задумкою ее... себя, девку суцеглупую, которая на уговоры поддалася... ректора нашего с речами льстивыми... эх, ежели б не он, была б я серед целительниц, ходила б по саду заветному утицей, травки перебирала б да с наставницею своею вела б беседы премудрые.

А тут...

Грязюка под ногами, грязюка под животом – пятый день кряду дождь идет, и дорогу нашу, по которой мы каждое утро бегаем, развезло так, что кобыла потонет, не то что человек.

Бревна вымокли, осклизлыми сделались, попробуй-ка зацепись... сенья и Еська скатился в лужу, а он, даром что мелкий, зато верткий и цепкий, что пацук. Про иных и речи нет. Изгваздалися все, Кирей и тот растерял свою обычную веселость.

Сидит под навесом, нахохлившись, рожек коготком скребет.

А хвостов у них нету... про то он еще во второй день сказал. Нет, я не спрашивала, но задание у него такое было, про азар поведать.

Поведал.

Хорошо поведал... Архип Полуэктович его похвалил даже... тогда-то нам мнилось, что весь день, да что день – все дни учебы и пройдут в нашем энтот классе. А хотелось иного.

Дохотелись.

Эх...

Я пошла по узенькому бревнышку, перекинутому через ручей... вода в нем студеная, а бревнышко ныне скользкое невмочно, но ничего, справлюся. Евстигней ноне с него сверзся

и ругался при том так, что ажно Лойко заслушался, а его поди удиви руганью... я-то не все поняла...

– Живей, Зося, живей...

Архип Полуэктович сзади идет, розгою помахивает, поторапливает, значит. А у меня желание зреет взять оное бревнышко да опустить на лысую макушку наставника. Вона как она поблескивает, будто бы маслом намашенная.

Но ручей я перешла. И овражец, грязью до краев заполненный, по камням перескочила. Стенка осталась, на которую подняться надобно, да тропа с кольями, ныне грязью прикрытыми.

...изучила я сию дорожку.

И не только я.

В первый-то раз еще на середине остановилась, решивши про себя, что пушай гонют, да только шагу больше не сделаю. Архип Полуэктович, глянувши на меня, грязью извазюканную, страшную, небось, только хохотнул:

– Что, Зося, тяжело тебе?

И мне бы согласиться, ан нет, натура моя, упертая, не позволила.

– Может, к прочим девкам пойдешь? – вкрадчивым голосом поинтересовался наставник. Я же головой мотнула, подол подняла и дальше побежала, кляня себя, что не послушалась Ареева совета... говорил же, что несподручно мне будет да в платье бегать, шальвары надобны... к домовому ежель обратиться, то принесет.

Положена студиозусам форма.

Вона, остальным выдали... а я... не добегла я до конца дорожки – доползла... гордость едино не позволила на нее рухнуть. И прямо глядеть заставила, и, видать, было в моем взгляде что-то этакое, отчего Лойко Жучень смехом своим подавился.

– Веселишься, боярин? – ласково спросил Архип Полуэктович, из-за спины моей выступая. – Сам-то, небось, с юных-то лет при мече?

– Ага, – не стал отрицать Лойко.

– И боец, думаешь, знатный...

– Есть такое. – Он подбоченился.

– Вот... и потому полосу эту ты не пробежать – пролететь должен, что пташка на крылах... а после не дышать заморено, но еще песню мне спеть.

– К-какую?

– О любви. А вы, судари, подпевайте...

Подпевать никто не спешил. Еська вздохнул только, тоненько, жалостливо и, присевши на пяточки, сказал:

– Заморите вы нас, Архип Полуэктович...

– Тю, – подивился наставник. – А что, тебя так заморить легко? Вона, погляди на Зося...

Мне вот вовсе не хотелось, чтоб на меня глядели, пушай даже в целях воспитательных. Не чувствовала я в себе готовности примером стать.

– Она, небось, в жизни этак не бегала... а ничего, отдышалась... ну, почти отдышалась.

Его правда, в жизни не бегала... нет, бегать-то случалось, как тем разом, когда в соседней Переселке шорникова невестка до сроку разродиться пыталась, а нас с бабкою только на другой день и кликнули, все думали, сама управится девка – в теле была, сильная. Ребеночек же поперек встал, тогда мало-мало обоих не схоронили. Ох, бабка и злая была...

едва не прокляла и шорника, и шорничиху с ее советами... тоже, придумала дите медом выманивать, чтоб на сладенькое полз.

Дура.

Так не о том я, а про другое. Тогда-то бабка меня бегмя пустила, сама-то она в годах, не могла ужо споро, а мне что, подол поднять, косу прибрать и через поле напрямки, всего-то версты две и было. Я-то тогда споро долетела, запыхалась только маленечко. Но на тех верстах ни стенок не было, ни ручеев, ни бревен осклизлых, по которым бежать с мешком на плечах надобно.

Ишь, удумали, полосу препятствий... то на животе ползи, то на спине.

Срам какой!

– Зося злится, – заметил Лойко Жучень и на всяк случай в стороночку отступил.

– Конечно, Зося злится. Но как позлится, так подумает, что все это, – Архип Полуэктович на дорожку махнул. А в ней-то верст пять будет... и как это я сумела-то? – исключительно для ее собственного блага. И для вашего в том числе...

Это как?

Значит, что в грязи-то я для своей пользы валялася?

Нет, я слыхала, будто бы есть грязи особенные, от которых здоровья прибывает, а есть такие, что и красоты добавить способные. Вона, девки в Дальний карьер за глиною ходят, мешают ее с травами да медом, лица мажут, говорят, что кожа белеет, смягчает. Не знаю, не пробовала.

Потрогала свое лицо, убеждаясь, что не дюже оно помягчело.

– Боевой маг – это не только и не столько чародей, который способен одним взмахом руки войско вражие повергнуть, – продолжил Архип Полуэктович. Он говорил и расхаживал на пяточке вытопанной земли, а мы стояли.

Слушали.

Еська и тот не вздыхал, не желая наставника перебить.

– Это прежде всего человек, способный сражаться не только обычною силой, но и магией... или, скорее, не только магией. Боевым магам часто случается попадать в ситуацию, когда собственно магия становится им недоступна. Скажем, исчерпает резерв... или попадет под блокирующее поле. Или опоят его, сил лишат... или просто надобно добраться до места, внимания не привлекая. А магия – она что камень, в воду кинутый, от которого круги идут. После научитесь круги эти слышать. Главное, что не всегда использовать ее уместно, да и возможно. И потому каждый маг должен быть способен постоять за себя сам.

– Так... я уже способен... – сказал Лойко.

– Да неужели? Ходь сюда... – Архип Полуэктович поманил пальчиком, а когда Лойко приблизился, то и оплеуху отвесил, да такую, что Жучень кувырком по траве покатился. – И на что ты, бестолочь, способен? На ногах не держишься.

– Так я...

– Так ты, – передразнил наставник. – Не можешь на удар ударом ответить? Ладно, тогда увернись. Отскочи. Или сделай, чтобы сила твоего соперника слабостью оказалась... много способов есть. Только вас одному учат, с мечом на мечника... кольчугой на кольчугу...

– И что не так?

– Шуму много. – Архип Полуэктович позволил Лойко подняться, а когда тот бросился на наставника, в стороночку скользнул да пинком подсобил... от того пинка Лойко вновь

на травку-то да и возвернулся. – Благородно, конечно... зрелищно, да только подобное умение хорошо на ристалище выказывать. Война же иного требует.

– Чего? – поинтересовался Евстигней и руку боярину протянул.

– Выносливости. Удачи. И желанья в живых остаться... и еще умения думать головой, куда и когда надобно лезть, а когда – оно и лишнее.

Сказано это было для Лойко, который пробурчал в ответ, что знать-то он знает, да вот знанием оным не всегда пользуется.

– А потому, судари студиозусы, будем в вас воспитывать... и силу, и выносливость, и умение... а с удачей, тут уж к Божине, каждому она своей дала...

Произнес так и ко мне повернулся.

– А ты, Зосенька, к заврему-то дню подыщи себе одежонку иную, а то оно, конечно, презабавно глядеть, как баба в сарафане по бревну бежит, да только тебе-то самой, небось, неудобственно...

И стыдно стало.

Так стыдно, что полыхнула я алой краской, от носа до самых до пят, благо, пят оных под подолом не сыскалось. Хихикнул Еська, вывернувшись из-под Евстигнеевой руки, рожу скорчил.

...от холера шалена!

С того дня и повелось, что вставали мы на зорьке, а ныне и до зорьки, поелику сказал Архип Полуэктович, что, дескать, день короче становится, а это еще не причина безделье бездельничать, и бегли на треклятую полосу, которая с каждым разом будто бы длиннее становилась.

И хитрей.

Вот точно помню, что вчерась на обходное тропке никаких ямин не было. Не за ночь же их намыло-то? Или все ж таки... в общем, бегали мы, бегали... прыгали... ползали по грязюке, а напозавшись вдосталь, мылися, благо работали мыльни и денно и ношно.

После завтрак был.

И учеба... учеба и снова учеба, которое, в отличие от дорожки, ни конца-то, ни краю... и в библиотеке нас уже встречали как родных. А вечером вновь дорожка, на добрый сон, как Архип Полуэктович выражался.

Только со сном не выходило: после ужина, когда страсть до чего хотелось лечь и не шевелиться, заявлялся Арей со своими этикетами. Мол, негоже боярыне, княжне цельной, да вести себя, будто бы чернавке... и что с того, что у оной боярыни кажную косточку ломит-крутит? А в голове уже столько науки, что больше и не лезет...

– Ты, Зослава, – сказал как-то Арей, когда совсем уж мне невмочно стало, – конечно, можешь меня прогнать, и я уйду и не буду более тебя беспокоить, но разве ж тебе самой не хотелось бы боярыням этим показать, чего ты на самом деле стоишь?

Ох, и правду сказал.

Хотелось.

Еще как хотелось... каждый день – все больше... не то чтоб говорили мне обидное, нет, но... глядели... и ладно бы свысока, на то оне и боярские дочки, но с презрением, с отвращением даже, от которого самой мне становилось неудобственно, и поневоле начинала я за собою вину искать.

Не находила.

И, стиснувши зубы, учила еще и Ареевы премудрости, правда, сколь ни билася, а все

одно не получалось ладно. И ходила я вразвалочку, и сидела, на поллавы развалясь, и руки растопыривала. В жизни не подумала б, что боярыням этак тяжко живется, и не дыхнешь-то лишний разок, каб чего не удумали. А уж до еды-то... Арей обмолвился, будто бы дочка боярская ест, аки пташка, там зернышко клюнет, сям медку пригубит и сыта, болезная... то-то, я и гляжу, что некоторые от этакой етъбы и бледны без белил. Где ж это видано, чтоб нормальный человек зернышком и медком сытый был?

Тут я с Ареем вошла в категорическую, как он выразился, оппозицию.

Нехай кони овес жрут, что пророщенный, по новое саксонское моде, которая велит девам есть лишь то, что росло, что обыкновенный, молотый. Я вот точно знаю, что у этаких диетических боярышень норов препаскудный... нет, ватрушка – лучшее девичье утешение.

А с леденцами и жизнь краше становится.

Арей, слушая мои этакие разговоры, лишь головою качал да усмехался, говорил, что я одна такая, мол, и те девки, которые из простых, уж мнят себя магичками, оттого и берут примеру с боярских дочерей... дуры, что ж тут скажешь?

В общем, так и училась.

С одежею моею и вовсе престранно вышло. В тот самый первый день, когда я еле-еле восперлась в комнатушку свою, чувствуя, как все тело прям-таки немеет и вот-вот растечется по кровати перебродившею опарой, в дверь постучали.

Вежливо так.

Как Арей делает, только чуть иначе.

Пришлось отворять.

На свою-то голову... за дверью стоял Кирей и, меня увидавши, поклонился, на нашу манеру, до самое земли, да еще рукою мазнул. Пришлось присесть, хотя ж ноги мои ноне этаких экзерцициев вытворять не желали.

– Доброго вечера вам, сударыня Зослава, – произнес Кирей и этак, с хитрецою, на меня воззрился, мол, чего скажу.

А чего сказать-то?

Была б бабка, взяла бы дрына да погнала охальника прочь, знал бы, как девок приличных в неурочный час беспокоить. Однако же занятия Ареевы не прошли даром.

Губы сами улыбку склеили.

И ласковенько так сказали:

– И вам доброго вечера, сударь Кирей.

– Кирей-ильбек, если вас не затруднит, сударыня Зослава...

Не затруднит, вот язык ныне у меня еще ворочается, ему что так произнести, что этак...

– И чего надобно? – Верно, спрашивать следовало иначе, мне всегда вопросы тяжело давались, поелику от них Арей лишь вздыхал, а порой и лицо прикрывал руками, сидел так, опечаленный, задумчивый, а опосля объяснял, что да как говорить следовало.

– Не далее как вчера был я премного впечатлен вашею статью и красотой. – Кирей вновь поклонился, но уже иначе, видать, этак азары друг друга привечают. – И потому, сударыня Зослава, желал бы я выказать мое к вам безмерное уважение.

И сверток протянул.

– Что это?

– Подарок.

Экий шустрый... вчерась увидел, а сегодня уж и с подарком. И вот как мне быть? Взять аль нет? Ежели не возьму, обидится... сам ноне рассказывал, какие азары горделивые да

спесивые, и чуть чего – драться лезут. Устроит мне тут дуэлю, а я только-только в комнате порядки свои навела.

Взять... а не решит ли, что с того подарку я ему обязанною буду?

Нет, в Барсуках-то у нас всякие девки встречались, были и такие, которые охотне подарки принимали, что от наших хлопцев, что от чужих, да только Зося Берендеева – не вертихвостка какая, которая всем улыбается, а никому в руки не дается...

– Нет, – я покачала головой. – Уж прости меня, Кирей-ильбек, однако же...

– Не спеши, сударыня Зослава. – Он рукой махнул, речь мою обрывая, будто нить. – Это от чистого сердца дар. И коль тяжело тебе будет просто принять его, то после отдаришься.

– Чем?

– А чем захочешь, – оскалился он, клыки показывая, и глаза этак ярко-ярко блеснули. – Я парень небалованный...

Ага, я так и поверила...

– ...с меня и поцелуя доволи будет...

– А в лоб?

– Целовать в лоб? – Он нахмурился, а после рассмеялся. – Верно, ты, сударыня Зослава, не знаешь нашего обычая. В лоб мужчину лишь жена законная целовать может. Но ежели я тебе по нраву пришелся...

– Не целовать. – Я покачала головой: ишь чего удумали. Все-то у них не как у людей. – Дать в лоб. Могу. Дрыном.

Подумалось, что дрын мой остался у наставника.

– Или так... кулаком...

Кулак я ему показала. А что, знатный он у меня, мало меньше, чем у кузнеца нашего... мы с ним еще в том годе на кулачках мерились, так я победила.

Азарин же не испугался.

Расхохотался только.

– Веселая ты женщина, сударыня Зослава. Мало таких в вашей стороне...

– А в вашей?

Он пожал плечами:

– Не знаю, давно там не был. – И вновь поклонился. – Подарок возьми. Пригодится. А то не дело это, когда над товарищем смеются...

И только когда ушел, поняла я, о чем Кирей баил.

В свертке – не утерпела я, взяла, не оставлять же было подарок за порогом, да и любопытство меня мучило нещадно, хотелось узнать, что же там такого, – нашлись шальвары из ткани тонкое да прочное. Только у азар такая и есть. Видела, как на рынке подобною купец торговал, баил, будто бы снесу ей нету, в жару холодит, в холод греет... и сама-то красоты неопикуемой, будто бы и красная, что маки, и тут же – рыжая, огненная, а вот иначе чуть повернешь – золотом солнечным отливает...

Стоит денег безумных.

А Кирей ее на шальвары.

И на рубаху с рукавами широкими, на завязках. А поверх рубахи да шальвар – безрукавка из оленьей мяконькой кожи... и сапожки еще... все-то новое, необмятое.

Дорогое – страсть.

Возвернуть бы надобно, но... как, не примеривши-то? Я и решила, что скоренько на себя



прикину, авось еще не сядет, тогда и верну...

Не вернула.

Хотела... вот от сердца отрывая, хотела, ибо разумела, что за такой подарок не скоро отдариться сумею, если сумею вовсе. А обязанною себя чувствовать – не люблю. И пусть хороши шальвары, свободны да лежат так, что сперва и не понять, шальвары то аль юбка хитрая. И пусть рубаха мягка, а жилетка – крепка, сапожек же и вовсе на ноге не чую, но...

Негоже девке да от случайного знакомца этикие подарки принимать.

Арей отговорил.

Ему и взгляда хватило, чтоб понять все. Я-то дареное не прятала, да и чего таиться-то? Он же глянул, дернул так плечом, будто свело его, и сказал:

– Кирей постарался?

– Отдам. – Мне вдруг стало стыдно: что обо мне подумают-то? Нет, что замуж мне охота, так я не скрываю, но вот чтоб прям так охота, чтобы за первого встречного, то нет...

– Не стоит.

– Почему?

Он руку протянул, будто бы желал шелк азарский пощупать, но не коснулся.

– Если женщина возвращает подарок, значит, мужчина не сумел ей угодить. Второй получишь. А потом третий... и так пока не примешь.

– Надо было сразу отказаться?

Арей плечами пожал, мол, может, и надо было, да только не его то дело.

– И как быть?

– Отдарись.

– Чем?

Нет у меня ни золота, ни даже серебра, ничего иного, годного в дар, чтоб равный был.

– А чем хочешь... вон, ленту для волос сплети.

И верно, волосы-то у Кирей-ильбека густые, черные, и ленты нынешние их не держат. А я знаю одну заговорку простенькую, которую девки барсуковские пользуют. Небось, больше не растреплется.

– Только... красного не вплетай.

– Почему?

– Красный – это невестин цвет... Синее дарят друзьям. Зеленое и желтое – близким друзьям или родне. Или побратимам еще... а вот красное – это или девице, которая по нраву пришлась, или жениху.

Нет... жениха мне такого не надобно.

Синяя, значит... а что, если лазоревым да по темно-синему узор вышить, оно и красиво выйдет, и со смыслом...

...две ленты, только вторую желтым да по синему. Может, Арей и не близкий друг мне, да только единственный, кого и вправду за друга почитаю.

– Арей...

– Да?

– А ильбек – это по-азарски «господин»?

– Наследник... он старший из сыновей. Только все одно не позволят ему на белую кошму сесть.

А он не отступится от своего... и жаль стало Кирея.

# Глава 18

## О хитростях медитации и некоторых их последствиях

На меня плыл пирог... расстегай с рыбою... и небось, сальца подкопченного в рыбу кинули для жирности и аромату. Пирог не спешил, плыл медленно, поважно, будто бы ладья крутобокая. А река из квасу-то белого знай плескала волной на кисельный бережок. И от такого зрелища невиданного в животе моем заурчало, напоминая, что завтрак был давно, а обеду стараниями наставника нашего мы пропустили.

От урчания я и проснулась.

Глаза разлепила, дабы аккурат перед собой узреть Архипа Полуэктовича, который присел на пол, подпер подбородок ручищей да и глядел на меня.

– Что, Зосенька, – поинтересовался этак ласково-ласково. – Не дается тебе медитация?

Я лишь вздохнула.

Ото ж... не дается... и кто эту мучению придумал? С дорожкой, вон, и то легче. Там все понятненько, бежишь себе, ногами грязюку месить, скачешь по камушкам не то оленухой молодой, не то коровою, что белены объелась, – я подозревала, что второе мне ближе. А тут... сидишь, ноги скрутивши – у меня по первости от такого скруту ныли страшно – и глаза закрывши, пытаешься отыскать в себе внутренний источник силы, а отыскавши, раскрыть его и достичь некоего внутреннего равновесия с собою.

Так Архип Полуэктович говорил. Прочие то ли понимали, то ли делали вид, что понимают, главное, не спорили. Оно и правильно, наставнику перечить – себе дороже. Вот и маялися.

В первые-то денечки еще по-божески было, сидели недолго, а ныне вот с самого утра... вместо лекций, аки сели, так и... я честно пыталась.

И глаза закрывала старательно.

И мысли всякие гнала, от которых в голове свербеж и беспокойство.

Правда, с мыслями не совсем чтобы получалось, верней, совсем не получалось... то одно в голову лезло, то другое... то беспокойствие за бабку, как она там? Получила ли письмо мое? Я уже и другое писать начала... а ведь задождило, но то в столице, в Барсуках-то такую порой обыкновенно сушь стоит... а вдруг и там развезло? Успели ли мужики сено убрать? А в нашем старом сарайчике крышу подправить надобно было, иначе сено это зимку не перележит. Чем тогда корову кормить?

Эти мысли прогонишь, так другие тут как тут.

Уговорил ли Ивашка родных посвататься к Марьянке? И ежели так, то что с приданным решили, с козою разнесчастною? И как оно у Бобыльчихи, которая вновь непраздною ходила. Разродилась ли? А ежели да, то мальчик аль вновь девка? За третью девку кряду, небось, свекровь ее со свету сживет... зловредная баба, а вот поди ж ты, пироги у нее самыми пышными на селе выходят.

– А знаешь почему? – продолжал допытываться Архип Полуэктович. – А потому, Зосенька, что не желаешь ты понять, что в медитации есть толк... Думаешь, что наставник тебе попался с придурью, перечить не перечишь, но и не стараешься.

И по лбу меня постучал, легонько, однако ж звук вышел гулким, будто бы и не голова

у меня на плечах, но жбан глиняный.

– Стараюсь. – Я лоб потерла.

Уж до мозолей на заднице исстаралась вся, куда уж дальше-то!

– Плохо стараешься. Не так, Зося.

– А как?

– А это ты сама понять должна. – И усмехнулся этак хитро, аккуратно как тот цыган, который в позапрошлом годе пытался бабке моей коровенку всучить, дескать, молочная зело, и не молоком – чистыми сливками доится, по три ведра на дню дает.

Сладкоголосый был... едва не окрутил.

– Иди, Зося, – вздохнул наставник, верно, по глазам моим понявши, что вновь одолели меня не те мысли. – Иди... и как найдешь в себе равновесие, так и возвращайся.

Сказал и глаза прикрыл.

Я некоторое время посидела еще, до сего-то дня меня с уроков не выгоняли, но после встала, небось, не курица, цыплянят не высижу.

Огляделась.

А хлопцы-то, хлопцы... все сидят со скучными мордами. Лойко, кажись, посапывает даже... а Игнат-боярин тайком бок себе чухает... и тоже не о высоком думает.

У Кирея же физия застывшая, будто каменная, по ней пойдя пойми, спит он аль медитирует... Евстигней вот лик имеет возвышенный, хоть икону пиши в Божиин храм... а у Евсейки – напротив, задумчивый, аккуратно как у нашего деда Звятко, когда он посеред поля присядет по великой нужде.

Еська ерзает да сквозь ресницы поглядывает, где да чего.

Емельян у дверей замер истуканом... а за месяцы-то эти похудел, с лица сбледнул, глядишь на такого, и сердце от жалости разрывается, так и тянет его, бедолажного, подкормить...

При мысли о еде в животе забурчало, и наставник нахмурился.

А что я? Я ничего... ухожу уже.

И дверцу за собою прикрою.

В столовой по неурочному часу было пустоватенько, что меня лишь порадовало. Не было ныне ни сил, ни желания видеть хоть кого-то. Вот на пироги, на те я поглядела с превеликою охотой, пусть бы и были они остывшими, а один – с почерствелою коркой.

Сразу вдруг вспомнилась и хата своя, родная, и бабка... мы-то пироги затевали частенько, и опару она самолично ставила в тихий теплый угол, прикрывала заговоренным полотенчиком, чтоб выходило после тесто мягким да крохким. А я уж с начинкою возилась... сейчас бы сюда тех пирогов, которые с брусникою, кисленькие... или вот с почками заячьими... или вовсе с дичиною, в которую я можжевеловую ягоду кладу для терпкости...

– Зослава, – от мыслей о высоком – пироги, чай, не какая-нибудь медитация, они сосредоточенности требуют, а тучочки всякие да над ухом орут, полохают.

– Чего?

Я подняла взгляд на девицу в зеленом суконном платье, которое целительницам всем выдали, но носят их исключительно девицы простого сословия, кому родители не способны были сарафану нужного цвету справить. Девка была не то чтобы нехороша... хороша. Статна, кругла в меру, пока без бабьей рыхлости, к каковой ея фигура имела склонность. Но вот кожа темна, а руки, как у меня, грубы, хотя я своих не стесняюсь, а эта – за спиною прячет. И шею

тянет, что гусыня, и голову дерет, глядит на меня сверху вниз, с презрением... так и захотелось за косу ее дернуть да поинтересоваться, чем же я душеньке ее не угодила-то?

– Тебя боярыня Велимира видеть желает, – произнесла девица сквозь зубы. И для пущей важности добавила: – Немедля.

– Немедленно.

– Что?

– Правильно говорить «немедленно». Или «сей же час», – вспомнилась вдруг ко времени Ареева наука. – Передай боярыне Велимире, что как трапезничать закончу, так и явлюся.

– Что?

Смутливое лицо девки вытянулось, а на щеках румянец полыхнул.

– Боярыня Велимира...

– Обождет. – На меня вдруг снизошло такое спокойствие небывалое, какому надлежало бы явиться в зале для медитаций. Тогда, глядишь, и не погнал бы наставник. – А коль ей сильно невтерпех, то пуцай сама сюда придет...

– Да ты хоть понимаешь, холопка...

– Не холопка. – Тело мое сделалось легким, как и обещал наставник, невесомым почти, а где-то в груди, чуть пониже сердца, уголек засел, да такой горячий... но жар его не опалял, напротив, мне страсть до чего захотелось, чтоб уголек этот стал еще жарче.

Больше.

Он и стал.

Он вдруг разросся, расправил огненные крыла... и кровь моя перестала быть кровью, варом сделавшись, или даже не им, но подземным шалым огнем, который по лесным болотам гуляет, раскрываясь черными яминами...

Я сама была яминой.

И желала еды... не той, не человеческой... но и ее тоже. Коснулась пирогов – истлели, пополнивши силу моего жара. А затем истлела и миска... и стол занялся. Дымом запахло... кто-то заверещал тоненько, страшно, и мое пламя потянулось к голосу...

– Стой! – Меня перехватили, не позволив добраться. – Стой, Зослава...

Руки держали крепко.

И сами были горячи, сплетены из огня, но чужого. Я же знала откуда-то, что, ежели выпью это чужое пламя, то собственное мое взметнется до самых небес, а может, и выше, до чертогов Божиных.

Мне хотелось этого...

И я пила, тянула... задыхалась уже от жара.

– Зослава, послушай меня... это я, Арей... узнаешь?

Нет.

Лицо, из огня вылепленное, иное, не человеческое... как я вообще могла его с человеком-то спутать? Люди слабые, никчемные, а в нем горит частица того, истинного пламени, которое пришло с изнанки мира. Оно мне нужно... нужней, чем ему...

– Сопротивляйся...

Зачем?

– Сопротивляйся, или сила тебя уничтожит.

Ложь!

Я и есть сила. Я и есть пламя, то самое, что, вырвавшись из печи, способно пройтись горячею волной что по лавкам, что по столам. Взметнуться, пусть и не до самых небес, но до

крыши точно. И крышу поднять...

– Зослава!

Голос доносится издалека. Глупый-глупый человек, все же и человек тоже, потому как, будь он рожден подземным огнем, понял бы, поделился бы...

...скарედный.

И его огонь не желает становиться моим.

Больно!

И обидно... и снова больно, потому как я вот-вот сгорю... и тянусь, льну к нему, обнимаю уже не руками, но сонмами искр, что жалят пчелиным роем. А он терпит.

Принимает.

Боль сладка.

– Зослава, постарайся вернуться, слышишь?

Не хочу возвращаться.

Я танцую... иначе, чем девки, которые на летний перелом хороводы водят... пламени хороводы не нужны, а нужно...

– Зослава!

Я почти добралась, дотянулась, обвила змеем-полозом, приникла жадным ртом к нему, тому, который не желал делиться силой, жалел, как жалеют люди... ну и пусть... я бы забрала... сама бы забрала все, что мне надобно...

И глаза его видела, пережженные.

И страх в них. Он меня-нынешнюю лишь развеселил. Пускай... страх сладок, как еловая, просмоленная ветвь, что вспыхивает, лишь коснувшись короны костра.

– Зослава, не надо...

Он мог бежать, а не побежал.

И я остановилась.

Глядя в эти пережженные глаза, остановилась.

Сама.

Что я творю?

Покачнулась... почти вернулась, ставши человеком, пусть пламя во мне ревело неммым голосом, буде бы человек – слабая подлая тварь... и я смешна, если хочу такую остаться.

А в следующий миг между мной и Ареем выросла стена слепящего огня.

– Прекрати! – Я слышала голос, но не смела отвести взгляд от этого, нового пламени, которое было сильным, сильнее моего. И уже меня саму тянуло склониться.

Поддаться.

Стать частью чего-то, несоизмеримо большего.

Искра к искре... как то заповедано было от сотворения мира.

– Кирей, ты ее...

– Замолчи.

Голос-удар. И наваждение уходит, оставляя меня совершенно без сил. Наверное, я бы упала, да не позволили.

Подхватили.

Усадили.

– Куда ты полез, мальчишка!

Я смотрела.

Видела.

Понимала ли, что происходит? Наверяд ли. В голове моей еще мешались что огонь колдовской, что голоса. И солнечный свет, невероятно яркий, от которого глаза слезились да появлялось желание вовсе спрятаться под лавку, прятал сожженную столовую.

Сожженную ли?

Все было как прежде... вот стена, расписанная березками... стол... и скатерть цела... пироги обуглились, но и только.

– Пей. – К губам поднесли стакан, я попыталась вывернуться, потому как огонь не любит воду, а я помнила, что еще недавно была огнем, но увернуться не позволили. – Пей. Так надо.

Евсей?

Евстигней?

Еська... всех назвали, спрятали одного меж многих... хитро, да как бы самих себя перехитрить не вышло... путается все, что нитки старые, которые клубками в бабкиной корзинке. Она мне шалю обещалась связать, чтобы кружевом, чтобы с цветами. Бабка-то моя – мастерица, каких поискать.

А в чашке – отвар травяной, горький. На вкус я различила Melissa, чернокорень и еще бадьянов лист, который, судя по отвратному запаху, брали верно, на третью ночь после новолуния.

Мерзость.

Зато в голове прояснение наступает. И стыдно становится... до того стыдно, что...

– Как вы ее вообще выпустили? – Арей тут же, стоит, руку к носу прижавши, да только помогает слабо. Кровь идет, да какая-то... розовая, будто бы... и не только из носу, вон, из уха поползла.

– К целителям! – рявкнул Архип Полуэктович, и взгляд его был тяжел, до того тяжел, что желание спрятаться под лавкой сделалось почти неодолимым. – И после поговорим, геррой... проводите...

Никто не шелохнулся.

– Я сам, – Арей руку от лица отнял, но кровь полилась, что водица. – Я...

– Евстигней. Лойко...

На лице боярина появилась такая тоска смертная, что прямо жаль его, бедолажного, стало.

– Сам он... сам ты этакою манерою на погост отправишься, – проворчал Архип Полуэктович, но уже не зло, скорее устало. – Теперь ты...

Я вдруг поняла, что сижу не сама, держат меня.

Кирей держит.

И видать, что дается ему это немалым трудом, вон, побелел весь, а глаза и вовсе черными сделались, как то самое пламя...

– Отпусти.

– Но...

– Зося, ты слышишь меня?

– Да.

– И понимаешь, кто я?

– Понимаю. Как не понять. Чай, не блажная...

Еська засмеялся, тоненько так, нервически.

– А это, Зосенька, еще как поглядеть... блажные, оне побезопасней будут. Отпусти,

Кирей. Видишь, вернулась она.

И азарин руки разжал, сам же покачнулся и, верно, когда б не плечо Евсеево, не устоял бы.

– Спасибо.

– Не за что, – хмыкнул Евсей. – Садись. И пей.

Плеснул в мою чашку из фляги да в руки Киреевы сунул.

– Что со мною было? – Стыдно глядеть наставнику в глаза, да только дед меня учил, что, коль натворила беды, то будь добра ответить.

– Сила в тебе, Зосенька, проснулась... – Архип Полуэктович потер глаза. – Не вини себя. Мой недогляд... пошли, Зосенька.

– Куда?

– Отдохнуть тебе надобно. Отлежаться денек-другой, пока сила не успокоится...

Хотела я ответить, что и без отдыха ладно будет, да... смолчала.

Не винить себя?

А кого тогда... это ж во мне огонь вдруг появился, и не ушел, тлеют угли, подернулись пеплом, но живые. Чую их. И тронь, дунь на такие, проснутся, брызнут живыми искрами, а то и вовсе полетят...

– Зослава! – Жесткий голос наставника заставил очнуться. – Нельзя спать, Зослава... сила сожрет.

# Глава 19

## О силе

Это уж потом узнала я, что сила в человеке, она что родник, камнем придавленный. У иных камень тяжел, а родник мал, и люди этакие полагают себя обыкновенными. Живут, как живется, о магии и не помышляют. У других и камень меньше, и родник живей, у таких-то сила нет-нет да просочится наружу... бывает, что к добру, бывает, что и ко злу.

Видать, из таких Жихариха наша, старуха пресклочная, которая и мужа свела в могилу, и сынов, не говоря уж о невестках, всех пережила, а ныне одна дни свои мучит. Да что там мучит, бродит по селу, ищет, с кем бы полаяться, потому как мирная жизнь ей крепко не по нраву. Жихарихи сторонятся. Глаз у нее недобрый, глянет искосу, с прищуром, сплюнет под ноги, а после что у молодухи волос полез, что на лице чирье повыскакивало, а младенчики кричать начинают, да так, что прям криком заходятся.

Сглазливая она.

Завидущая.

И молоко от нее-то киснет... то есть не от нее самой, но от силы ее, которая выход находит да, смешавшись с душою грязною, застоявшейся, что вода в старом озерце, на людей выплескивается. Оттого, приправленные силой этой, и сбываются Жихарихины пожелания.

Желала б добра, глядишь, и ей бы прибыло.

Так наставник говорил.

Со мною сидел, и день, и ночь, и снова день. Спать не давал, все говорил... или вот у меня выспрашивал... и снова говорил, а я слушала да старалась отрешиться от огня, который не спешил уходить.

– Черпанула ты у Арейки крепко. – Архип Полуэктович лишь головой покачал. – А он дурень, что полез... сила-то, когда на прорыв открывается, она дикая, бесконтрольная...

...у третьих людей камень не камень, так, малая преграда. А силы, так напротив, не родник – река цельная, подземная. У таких-то сила с младенческих лет на волю стремится, да только разум человеческий ее не пускает. Архип Полуэктович объяснял, что сие есть – исключительно для пользы собственной, человеческой. Что дитя малое с силой своею не управится, что, пусти ее разум, то и само дитя сгинет, и многих прихватит.

...хорошо говорил.

А я вот слушала.

И пыталась управиться со своею рекой... и что, что оная река огненная? У всех-то по-разному... у большинства-то открывается помалу, и сила сочится, ширит свое русло, прибывает день ото дня. Самое оно легкое тогда, что для наставника, что для человека. А бывает так, как у меня, когда подопрет под край, переполнит сосуд телесный, а следом и плотину разума перехлестнет, разметает по ниточке, по мыслям. И тогда уж от человека зависит, сумеет ли он силу свою обуздать.

– А если б... не сумела?

– Тогда б сгорела ты, Зослава. – Архип Полуэктович не стал добавлять, что не сумела я еще, что сидим мы в комнате с белыми ледяными стенами, которые будто бы оковы, не потому, что наказана я. Не наказание сие, но лишь попытка спасти девку неразумную, магичить вздумавшую.



- Арей...
- Вовремя вошел.
- С ним все...
- Оклемается. Арейка – парень крепкий...
- Я его могла убить?

Жутко от того, но... второй день сидим, и иные разговоры закончились. А спать мне нельзя, никак нельзя, потому как не проснусь.

- Могла. – Архип Полуэктович врать не врет. И спасибо ему за то. – Но не убила.

Остановилась.

- Остановили. Огонь...
- Кирей.
- Наверное, я огонь видела.
- Это его собственная сила. Он у нас рано открылся. Хаотичный прорыв, как у тебя...

для азар такое вовсе не характерно, но у него в крови крепко всего намешано. Видать, мать была из наших...

- Тогда почему он на азарина похож?

– А у них по отцу наследуется. – Архип Полуэктович сидел, прислонившись к белой стене. И как ему не холодно было? Я вот мерзла, хоть от стен держалась, но все одно чуяла, как тянет от них... морозные... этак, чуть расслабься, и насмерть заморозят. – У азар женщины редко рождаются, оттого и ценность имеют большую. За невесту азарскую отцу золотом заплатят, камнями самоцветными, а порой и тем, что золота дороже.

Это чем же?

Но слушала я Архипа Полуэктовича. Складно баял. А я сказки люблю, даром что выросла.

– И в новом доме ее примут ласково, окружают заботой, именовать станут «гюль-иши», сиречь «драгоценная дева». Азары верят, что в женщинах сберегается истинное пламя. И сыновья, рожденные от «драгоценной», будут сильнее, здоровей, удачливей всех прочих... не спи, Зослава.

- Не сплю.

Холодно.

И огонь внутри меня почти погас. Правда, наставник уверил, что огонь этот больше никогда не погаснет, разве что случится мне совершить какое злодеяние, за которое буду наказана Ковеном, но на то лучше и в мыслях не загадывать. А так-то силу, что вырвалась, уже не загонишь обратно.

И в том свое счастье.

Вот пообвыкнусь я с нею и сама не захочу расставаться, потому как станет она мне и руками, и ногами, и сутью моею второю. Он-то знатно объяснял, а у меня-то этаких словей и нет.

Поверила.

– Как уже говорил, женщин своих у азар мало, вот и приходят за нашими. Мы-то им по крови чужие, но не столь чужие, чтоб детки вовсе не рождались. Правда, нашим женщинам особого почету нет. Их порой и за людей не считают.

Пожевал Архип Полуэктович губу и добавил:

– И не только азары. Азарин, небось, на мать своих детей руку не поднимет. Какого бы роду ни была, но уважать станут... и уж точно своих детей рабами не держат они.

– Заложниками только.

Не удержалась я, потому как по рассказу его выходило, что мы хуже азар. Где ж приятно такое слушать?

– Заложники – дело иное, дело чести... Ковен клятву давал, что не будут заложников этих мучить или позору предавать, что в дома иных бояр войдут они если не сыновьями, то всяко родичами. И учить их станут. И беречь...

– Их?

Мне-то представлялось, что Кирей один такой.

– Десятеро было поначалу.

– Было?

– Пять лет тому царь разрешил им домой воротиться... всем, кроме Кирея.

И вновь замолчал Архип Полуэктович, а мне вот подумалось, что сказка нынешняя уж больно печальною выходит.

Получается, рос Кирей ни своим, ни чужим.

Вырос и вновь... наследник, которому наследовать не дадут, остановят. Коль не по закону, не знаю уж, каковы законы у азар, то иным путем. А путь оный – в сырую землю ведет, по путям костяным, по дорожкам туманным.

И от мыслей таких зябко стало.

Надобно греться собственным огнем, да только жутко мне, потянусь, да не дотянусь... трону и отступлю, а ну как вновь вырвется дикое, шалое пламя.

– Но мы ж не о том, Зосенька. – Архип Полуэктович будто бы и не замечает, сказал, что сама я с собою управиться повинна, а как – тут каждому свое. Он лишь глядеть будет, чтоб не причинила я вреда ни себе, ни людям. – Мы про то, что от азарина и у простой девки азарин родится. А вот коль отцом человек, то и выходит кровь мешаная...

Вновь замолк.

Задумался.

– Странно, что ты да огнем открылась...

– А чем должна бы?

Околею. Божиня видит, что еще немного, и околею... помнитчя, одного года, я тогда еще мала была, неразумна, нашли за ближним леском покойника. Зимой-то шел, да, видать, заблудился в метель. Сказывали, что синим он был, а на лице – улыбка пресчастливая. К бабке тогда ходили, кланялися, чтоб глянула по-своему, нет ли за тем покойником беды какой.

...на меня и глянуть некому будет.

Схоронят туточки, у оградки. Добре, ежели куста ракиты на могилку мою не пожалеют, а то и вовсе не станут маяться, затянут травушкой зеленою аль какими иными, полезительными, растениями-с.

И жалко себя стало, ажно до слез.

Где мои годы молодые? Не пожила, на мир не поглядела... и ладно бы надобен мне этот мир, но ведь и вправду, не пожила... кто обо мне вспомнит? Кто всплакнет? Кто на ночь духов поделится сметанкою и хлеба куском?

– Зослава, – грозно произнес Архип Полуэктович, – прекращай дурить.

А разве ж то дурь?

– Вы только моей бабке отпишитесь, что померла Зослава...

– Сама и отпишись, – отмахнулся наставник.

– Что померла?

– Что живая... эх, Зослава, Зослава... значит, батька твой не из местных, говоришь, был... интересно. Огненная стихия редко выбирает женщин.

– Почему?

– Огонь – разрушитель. А женской сути разрушение противно. От Божини вы созидательницы...

Выходит, что я...

– Не набирай в голову. – Наставник не позволил додумать. – Огонь хорош для боевого мага, я просто удивлен... думал, на твой зов земля отзовется, берендеев род к ней близок. Аль вода... тут же огонь...

– И что мне с этим огнем делать-то? – проворчала я.

Не от недовольства, не осталось во мне недовольства, только усталость одна.

– Управляться.

– Как?

– Думай, Зослава. Слушай себя.

Вот же ж упертый человек! И человек ли... слушай себя... слушаю я... в животе вон вновь бурчит, и громко, только голода не чую ни капельки. Сердце бухает ровно. Дышу вот... и пятка свербит. Как свербящая пятка с огнем управляться поможет?

Никак.

Слушаю дальше... угли, которые под сердцем.

И само оно, горячее, живое...

Себя слушать... а кто я есть? Зослава... это имя... дед придумал, так мне сказали. И матери моей оно по нраву пришлось, а отец вот именовал меня Зеей... говорил, что на его языке сие означает – жизнь.

Жизни лишили.

Его и матушку... и деда тоже. И бабушку мою, которая в мире этом задержалась единственно потому, что невозможно было дитё горькое кинуть. А больше я не дитё, и скоро отойдет она...

И моя жизнь сложилась иначе, чем могла бы.

Нет, никто-то не обижал сироту, да и не той я природы, чтоб обидеть легко, но вот представилось вдруг, каково бы жить мне было, останься рядом и матушка, и отец... и дед. Он-то, мнилось, меня лучше других уразумел бы, медвежий человек.

Ушли.

Огонь вот оставили.

Прежде-то и вправду на зов мой земля откликалась. И вода меня слышала, а ветер – слабо... у Стефки из Завязья с ветром говорить сподручней выходило.

А огонь – тот никогда... откуда во мне?

Вода – от матери, я теперь вот вижу ее, гибкую, сплетенную будто бы из синей пряжи. И в бабке она есть, пусть голос ее и слаб, как и голос ветра. Земля – дедова стихия, и не стихия даже, но он, берендей, дитя ее, плоть от плоти. А вот огонь – отцов.

Наследие.

И даром такого наследия не надобно... а он уже еле-еле теплится, руку протяни, надави, и погаснет... и к лучшему, может. На кой мне огонь, с которым я сладить не умею? Земля ведь останется. И вода... ветер и тот, пусть с неохотой, но отзовется, коль сильно уж прогоню.

Держу я огонь в ладони.

Греет.

Ластится к пальцам, смиренхонький...

...а отца я помню слабо.

Матушку, ту хорошо. Запах ее сладкий. И голос. И смех, от которого окна в доме дребезжали... и деда вот помню тоже, как на плечи сажал и была я выше всех! Разве что конек с крыши поглядывал снисходительно, но и то... помню, как в лес водил, учил слушать землю и травы...

А отца вот нет.

Ведь было же... что было?

Красный платок с ярмарки привезенный. И бусы крупные, круглые, из бусин расписных. Два дня носила, не сывая, а после нитка порвалась, и так неудачно, во дворе... там аккурат трава росла, а в ней не только слепота куриная, но и крапива пряталась, да такая жгучая, чуть тронь – и пойдут по коже волдыри.

От обиды я разревелась.

Хороши были бусы! Ни у кого из девок не было, а отец сказал, что горе это – не горе вовсе... и сам по траве ползал, бусины собирая. И крапивы не боялся...

А потом сидел и нанизывал на нить другую, крепкую, вощеную.

Улыбку его помню, чутка кривоватую. Нос острый, с горбинкой...

...еще помню, как меня Андрейка, старший старостин сынок, за косы оттащил, на спор... а отец ему розгою да по заднице переехал, и не забоялся со старостою спорить.

Как с дедом старую березу пилили... и сенокос тоже. Руки на рукояти косы, и ее тоже, блестящую, выглаженную этими руками до гладкости невероятное. До сих пор в сарае висит, ждет руки умелой. К бабке не единожды мужики подходили, чтоб продала, уж больно справная она, да только бабка наотрез отказывалась.

Она и косы пожалела... а я от такого дара сама едва не отказалась.

Подняла ладонь.

Коснулась огонька в ней губами, подула легонько.

Не надо.

Не уходи... не бросай меня вновь... я буду бережно с тобою обращаться.

Кто я?

Зослава.

Искра от искры.

Лист от древа. Капля от ручья студеного. Ветра толика... силы, даренной предками, едва не потерянное по глупости девичьей. И ныне не пугает больше сила.

Совладать с нею?

Разве ж можно? Она не конь норовистый, который без узды понесет. Она – это я... а с собою совладать просто.

И сложно.

Я открыла глаза.

– Здраве будь, Зослава. – Архип Полуэктович больше не улыбался. – Вижу, справилась с собой?

– Не знаю. – Во рту было сухо... и губы, небось, потрескались.

– Справилась. – Он встал и руку поднял. – А теперь иди, отдохни.

– А... можно?

– Нужно, – усмехнулся он.

Руку я приняла. Сила-то внутрих сидит, тело же мое вовсе ослабело. И спину вон свело, и в ногу пострельвает от сидения долгого.

– Поспи...

Мудрый был совет.

# Глава 20

## Про гиштории жизненные поучительного свойства

Отчего-то мне казалось, что с того дня, как очнулась во мне сила, все-то вокруг переменится разительным образом.

Не переменилось.

Сутки я спала, крепко, без снов.

После ела, и домовою лишь охал, ахал да головою качал, сочувствовал, значит.

После снова спала... а там и отдыху конец пришел.

И все стало как прежде. Побудка до света. Полоса клятая, по которой уже впотьмах бегать пришлось... и дожди, что зарядили, – осень же ж на дворе – тому не помеха.

Мыльня.

Завтрак.

Учеба... и внове учеба... о том, что случилось со мною, не заговаривали. Напротив, порой я сама начинала думать, что ничего-то не произошло. Мало ли, привиделось мне с устатку... бывает.

На семьй день, когда я уж сама-то почти решилася искать идти, объявился Арей.

– Здравствуй, – сказал мне, кланяясь привычно.

И я присела, взгляд потупивши. Стыдно было, хоть ты под землю провалился, да только до земли далече, а пол дощатый, половичком прикрытый, для проваливания был мало годный.

– Что ж, вижу, у тебя много лучше получается. Я принес тебе учебник. – Он положил на стол книгу. – Почитаешь...

И отступил к двери.

– Погоди. – Я вдруг поняла, что сейчас Арей уйдет.

А я остануся одна, с учебником... и нужна мне самой, без него, этая наука?

– Извини, пожалуйста, за то, что я... – Вязкие слова, и не такие вежливые, какими должны быть. Со словами мне управляться куда тяжелей, нежели с деревянною палкою, которую наставник повадился совать, требуя представить, будто бы это не палка вовсе, а меч. – За то, что едва тебя не убила.

– Я сам виноват.

Ответил.

И взгляд отвел.

– Ты меня спас.

Кивнул.

Потом мотнул головой:

– Не я. Кирей. Моих силенок не хватило бы... а он...

Смолк.

– Ты поэтому уйти хочешь?

На лице Ареевом красные пятна полыхнули.

– Мне не место рядом с тобой.

– Тебе так дядька твой сказал?

– Он прав. Я... могу уничтожить твою репутацию.

– Чего?

– Зослава. – Арей вздохнул тяжело и потер переносицу. – К тебе уже приглядываются... примеряются... и ты хотела выйти замуж? Ты выйдешь. Боярынею станешь, коль будет твое на то желание... а я... я не та компания, которая подходит для молодой незамужней девушки. Думаешь, никто не видит, что я сюда хожу? И что после скажут?

Вестимо, что... соврут аль придумают, на придумки, небось, сплетники горазды. Только мне ль бояться злого слова?

– Присядь, – попросила я Арея. – Будь гостем в доме моем...

И пускай комната сия вовсе не дом, однако же не посмеет он отказать в этакой просьбе. Негоже гостям хозяев обижать.

Присел.

Спина прямая, глядит перед собой.

Руки в кулаки стиснул.

Злится? Или переживает... хороший он, хоть и азарин наполовину, да привыкла я к азарам, видать, ежели факта она не вызывает в душевнике моей ни гнева, ни иной какой эмоции.

Я же на стол застлала скатерочку белую, которую самолично вышивала васильками да маками. Ладне получилось. На скатерочку и чайник поставила, высокий, заговоренный. Чай в нем долгехонько оставался горячим.

Чашки звонкие.

Варенье малиновое, сладкое. Меду...

– Не побрезгуй, гость дорогой, угощением...

– Прекрати, – сквозь стиснутые зубы произнес Арей.

Сушки.

И пряники, Хозяином принесенные, жалел он меня, страсть, вот и баловал. А я ему отдаривалась, когда рубашечкою, из лоскута скроенною, когда сапожками вязаными. Домовые, они что дети малые, всякое обновке рады, лишь бы с душою была. Мой-то некогда объяснял, что оттого и не важен им ни фасон, ни размера, что не самую вещь они примеряют, но намерение, с которым ее делали.

– Возьми. – Я самолично наполнила чашку духмяным травяным отваром. – И скажи мне, Арей, чем обидела я тебя.

– Ничем, Зослава.

– Тогда отчего ты думаешь обо мне так... дурно?

Он вздохнул.

– Ты не понимаешь...

– Не понимаю, – охотно согласилась я. – Объясни мне, дурище, отчего это все вдруг разом переменялось?

Чашку он принял. Аккуратно на ладонь поставил, а я заметила, что крепко Арей переживал, вон кулаки стиснул так, что и ныне на ладони отметины от когтей остались.

– Зослава, если ты хочешь стать боярыней, тебе надо вести себя, как подобает боярыне. И значит, не якшаться со всякими... неподходящими личностями.

– С тобой, значит.

– Со мной.

– А если не хочу?

– Что? – Этакая мысль в Арееву светлую голову, видать, не заглядывала.

– А если, – говорю, в глаза его глядячи, – не хочу я становиться боярыней?

– Но...

Нахмурился.

Но пряника взял. Вцепился в него зубами. Жует, глядит в чашку, видать, ответ достойный думает.

– У нас вот в Барсуках жила одна девка... я-то сама ее не знала, не помню даже, поелику эта гишгория приключилась, еще когда меня и на свете не было... бабка сказывала, – я-то пряника в чай макаю, так оно и чай слаще, и пряник мягче. – Хорошая была девка... ладная... с лица и вовсе красавица такая, что глаз не отвести. И вот увидел этакую красоту боярин один. И приключилась у них любовь превеликая. Такая превеликая, что боярин этот больше ни о ком, окромя своей зазнобы, и помыслить не мог. Увез ее из села родного, да не просто увез, а в храме поклявшись пред ликом Божини, что женою сделает.

– Соврал? – поинтересовался Арей.

– Не соврал. Сделал. И в город забрал. И хотя ж родители крепко против этакой невестки были, наперекор ихнему слову...

– Их.

– Их слову, – послушно поправилась я. – Он свою Матрену не обидел... научил... вот как ты меня учишь. Говорить научил. Ходить. За столом сидеть красиво. Прочим каким премудростям боярским. Она ему дитячко народила... и вот жить бы им да бед не знать.

– Не вышло? – Арейку отпускало.

Чуяла я, что и дышать стал ровней, и огонь его, сокрытый от глаз моих, успокоился.

– Не вышло... много нашлось таких, которые стали говорить, что негоже чернавку в боярынях ходить, а там и выдумывать всякого, что, мол, приворожила, окрутила... а сама-то не чиста... сначала одно слово, потом другое... и третье подоспело. Боярин тот прям извелся весь, не зная, кому верить, жене аль дружкам-приятелям. А тут еще беда случилась, померла их дочь...

Малиновое варенье Арей принял с легким поклоном.

Попробовал.

Зажмурился... а и сама знаю, что хорошо оно, сладко и духмяно. Я в малину мятного листа кладу, для пущего аромату. И каплю меду.

– Горе людей или роднит, или разъединяет вовсе. Так моя бабка сказывала. Этих-то не разъединило, разрезало... угасла любовь. А тут еще боярыня старая шептать стала, что надобно иную жену искать, по роду, по достатку. Эта-то, мало того, что холопка, так еще и пустоцветна, коль только одно дитя слабосильное народила.

– Послушал?

– Развели их жрецы по разным сторонам, разрезали брачные узы. И отправилась Матрена домой, в Барсуки наши, только и там немного прожила. В пути-то еще от горя слегла с лихоманкою. Уж на что моя бабка лечить умеет, а не вытянула. Говорила, дескать, не было у Матрены желания такого, дальше жить. Душа ее от мира давно сбегла...

Арей молчал.

И я молчала: чего тут добавить.

Нет, не скрою, что были у меня мысли... всякие мысли были. Но и какая девка не мечтает, чтоб к ней во двор царевич молодой въехал, чтоб поразился ея красе девичьей да в седло поднял, увез за море-окиян, в чудо-страну, где реки молочные о кисельных берегах, а зерно в семь колосьев растет.



Но я ж разумею, что мечтать можно о всяком, а в жизни такому не случиться.

– Потому, коль боишься ты, что обо мне говорить станут, то не бойся. Сама знаю, что станут. На чужой роток не накинешь платок...

– Значит, не хочешь в боярыни.

– В посадские – нет.

– Тогда... уж прям не знаю, кого тебе в женихи сватать, – усмехнулся, но за теми словами послышалось мне облегчение превеликое.

– А просто хорошего человека...

[Купить полную версию книги](#)

---

---

notes



Горничная рубаха – верхняя рубаха, которую шили из ярких тканей, часто красного шелка. Отличалась длинными рукавами, в 8–10 локтей, и шитьем.